Е-52
ч.1

Еллинский
Под звон
цепей.

E526

Б. ЕЛЛИНСКИЙ

ПОД ЗВОН ЦЕПЕЙ

ЧАСТЬ II

E 52

В ТИСКАХ КАТОРГИ

ИЗД-ВО ПОЛИТ-КАТОРЖАН МОСКВА 1927

65198/8°

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО
ОБЩЕСТВА
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН
—И—
ССЫЛЬНО-
ПОСЕЛЕНЦЕВ

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТОРЖАН
И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА
ЖУРНАЛА „КАТОРГА и ССЫЛКА"

ВОСПОМИНАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ И ДР. МАТЕРИАЛЫ ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОШЛОГО РОССИИ

КНИГА XXVI

МОСКВА

821.71-94
Е 52

Б. ЕЛЛИНСКИЙ

ПОД ЗВОН ЦЕПЕЙ

РОМАН

ИЗ ЖИЗНИ САХАЛИНСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ССЫЛЬНЫХ

ЧАСТЬ I

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТА
КРАСНОЙ ПРОФЕССУРЫ
Инв. № 65198/80
16/3

ЛЕНИНГРАД
1927 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА РОССИИ
№ 65198 г.

Главлит № 81582 Тираж 5000 экз. 10¼ л.

Тип. „Коминтерн" Центрального Издательства Народов СССР, Ленинград, Красная ул. № 1.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Нужно сразу-же и совершенно определенно заявить, что так называемые чисто художественные задания не стояли перед автором романа «Под звон цепей».

Теперь, когда даже и в художественную литературу широко и безудержно хлынула газета: факты действительной жизни, записки, письма, воспоминания,—было бы странно требовать чего-нибудь противоположного от предлагаемого романа. Было бы странно, чтоб в романе, который сделан на таком исключительно-выигрышном материале, как жизнь политической и уголовной каторги на острове Сахалине,—превалировала выдумка.

Разумеется, обойтись здесь совершенно без выдумки было невозможно, поскольку автор избрал для своей цели условную литературную форму; в данном случае, форму романа. Но важно установить, что роль выдумки в романе невелика: выдумка несет в нем, главным образом, службу связи. Зато и самый роман должен произвести на читателя тем бóльшее впечатление, чем больше нового о жизни политической и уголовной каторги он ему сообщит.

О Сахалинской каторге в русской литературе написано так мало, что книги эти—на-перечет: И. Миролюбов «Восемь лет на Сахалине»—издание Суворина, А. П. Чехов «Остров Сахалин»—издание Маркса и В. Дорошевич: «Сахалин»—издание Сытина.

И. Миролюбов (это—не редактор «Журнала для всех») был на Сахалине в 80-х годах, Чехов и Дорошевич—в 90-х; Миролюбов, как ссыльный и в течение восьми лет; Чехов и Дорошевич—как туристы, и притом на короткое время.

Разумеется, совершенно исчерпывающе жизнь каторги со всей ее подноготной мог и может дать не турист и не случайный человек, а человек, перенесший ее сам и пробывший на ней годы. В этом смысле преимущества на стороне Миролюбова.

Но тут нужно добавить, что автор этот—бывший мичман—находился на Сахалине на привилегированном положении, заведывал метеорологическим пунктом, был также ревностным певчим в церковном хору, и всю тяжесть настоящей каторги, с ее же-

сточайшими и произвольными телесными наказаниями, голодом, бессмысленно-тяжелым и непродуктивным трудом, не вынес на себе. Ему был поручен промер сахалинской бухты, и половина его записок относится именно к этой теме. Так что, в конечном счете, его можно засчитать таким же случайным человеком, как и Чехова с Дорошевичем.

И кроме того, его записки испорчены неприязнью к «хохломании» украинцев и «полонофильству» поляков уже совершенно в ура-квасном патриотическом тоне. Описание, например, процедуры поднятия в праздник на Сахалине трехцветного флага—умилило бы любого «нововременца». Впрочем, его записки именно Сувориным и изданы.

Очень примечательна книга А. П. Чехова, и очень поверхностна—В. Дорошевича. Только, как это ни странно, книга Дорошевича живее. Знаменитый же наш беллетрист подошел к своей задаче несколько специально, скорее как добросовестный земский статистик, чем—как художник.

Главы его книги носят, например, такие сильно-специальные заглавия:

«Глава XVII. Состав населения по возрастам. Семейное положение ссыльных. Браки. Рождаемость. Сахалинские дети».

Или:

«Глава XIX. Пища ссыльных. Что и как едят арестанты. Одежда. Церковь. Школа. Грамотность».

Словом, это типичное исследование. И очень часто—на материале, предоставленном начальством. Живых же фактов, конкретных случаев, бесед с арестантами,—в нем до крайности мало. Характерно, что в отличие от Дорошевича, который придерживался метода бесед с арестантами, Чехов производил анкеты.

Кроме того, он отдал много места в своей книге о Сахалине его географии, флоре и фауне, колонизационным возможностям и проч. Между строк его книги можно читать, что система сахалинского исправления преступников жестока; но что она бессмысленна, об этом, понятно, нет ни слова. Книга о Сахалине писалась Чеховым для «Русской Мысли»,—издания тускло-прогрессивного и безразлично-либерального — поэтому, не говоря уже об общественном кредо Чехова, и основной тон ее—это тон осторожного либерализма.

Дорошевич, в отличие от Чехова, записал множество живых фактов, бил на конкретность, но, по единодушным отзывам печати, многое присочинил.

Его записи—бойки и фельетонны. И, конечно, социально были рассчитаны на того самого читателя, которого обслуживал Сытин со своим расхожим «Русским Словом», так что в этаком «Сахалине» все заранее было продиктовано вкусом заказчика.

И бойкий фельетонист остался верен себе: он написал свою книгу с социальной оглядкой на заказчика—отсюда: уклон в бульварщину и в занимательное чтение. Одним словом, типичная спекуляция на чужих страданиях.

Наконец, помимо этой установки, очерки Дорошевича в корне испорчены претензией автора проникнуть в психику преступника, претензией дать какого-то метафизически-понимаемого каторжного спеца вне общественных влияний и вне среды,—в результате чего все внимание автора сосредоточено не на рядовой арестантской массе, а на Иванах—заправилах каторги,—биографии которых он и подает с соответствующим эффектом.

Обе книги, в результате всего этого, лишены необходимых выводов.

Все выводы, все социальное зло той системы, которую проводило в отношении как уголовных, так и политических русское самодержавие, — удалось сделать только теперь т. Еллинскому. Ему—первому—с должным негодованием посчастливилось заговорить о проклятом каторжном острове, где слово «закон» в применении к «преступнику» звучало насмешкой. Он—первый—заговорил об этом «царстве розги и плети» языком свободного гражданина.

Небезынтересно будет сообщить, что ни Чехову, ни Дорошевичу сахалинское начальство не разрешило общения с политическими каторжанами—и оба автора эти условия выполнили. Таким образом, только теперь и впервые за все время поднимается завеса, скрывавшая от наших глаз жизнь политических на Сахалине. Тов. Еллинский—сам политический—дает картины этой жизни с должной полнотой: от ежедённой будничной каторги до согласованных выступлений политкаторжан против начальства, продолжавших и в каторге общеполитическую борьбу с правительством.

Нельзя без волнения читать, как он описывает цепь событий, сопровождавших факт порки т. Домбровского. Политкаторжане, которые никогда и в условиях самодержавия не считали ссылку явлением нормальным, а порку имеющим что-нибудь общее с узаконенным наказанием,—дружно обострили эту борьбу согласованным выступлением против сатрапов Сахалина.

Замечателен также эпизод с подготовкой восстания с помощью заключенных уголовных—безумная на первый взгляд попытка, но естественно-продиктованная невыносимой тяжестью положения.

Уже одни эти выхваченные нами из романа факты говорят, насколько книга т. Еллинского—нова и своеобразна по своему фактическому материалу и насколько сильно отличается от всех имеющихся сочинений о Сахалине. Несмотря на то, что факты, описанные в ней, произошли 30 лет тому назад, сахалинская каторга встает, как живая.

Необходимо отметить, что, по заданиям сюжета, цепь фактов, а именно — порка т. Домбровского, его самоубийство и последовавший затем «женский бунт», помещенные в романе, — хронологически произошли на самом деле несколько раньше.

Из других более ранних событий, и притом событий, происшедших не на Сахалине, а в Сибири, автором удачно вставлено в роман, как воспоминания одного из героев, — несколько эпизодов из истории жестокой и непримиримой борьбы политкаторжан на Каре против произвола тюремщиков.

Материал этот нимало не выпирает из общего контекста романа, а, наоборот, удивительно хорошо гармонирует с ним, ибо основная тема автора — политическая каторга.

Одно из замечаний, которое можно сделать по поводу романа, будет касаться некоторой необ'ективности автора в отношении политических группировок.

Автор, будучи сам — правда, не очень определившимся — деятелем народнического склада, представителей другой, не-народнической идеологии описывает несколько тенденциозно. Но в этот клубок симпатий и антипатий автора любой из современных читателей в состоянии внести собственные коррективы: это нетрудно.

Ред.

ОТ АВТОРА.

Вот они — смотрят на меня со стены — портреты друзей и товарищей долгих лет моей ссылки и каторги. Тридцать лет минуло с тех пор, как встретил я их на заре моей юности.

Теперь я — старик, а они... почти все они умерли. Но я не чувствую себя одиноким, ржавым обломком былинных времен революции. Мы бились ощупью, но бились смело и верили в победу. Мы делали ошибки и падали, но из наших ошибок вырастал опыт, и на месте упавших единиц вырастали тысячи новых бойцов. И вот их стало миллионы.

И я, и другие,—подобные мне—дождались дня свободы. Нет, не одинок я; и кипит и плещет передо мною в избытке юных сил новая жизнь.

То скорбной, то светлой вереницей встают передо мною тени прошлого, тени краткой одиночной борьбы и долгих лет страдания; и ласково смотрят на меня со стены портреты погибших.

Они оживают, эти тени, и свиток прошлого развертывается передо мною, картина за картиной. Рука сама хватает перо, и вот я пытаюсь возможно правдивее зарисовать картины этого свитка. Не идейную связь настоящего революции с ее прошлым, не теоретические обоснования или разногласия их друг с другом хочу показать я на этих страницах; это делалось много раз и не мне, после двадцати лет оторванности от жизни, пытаться сказать здесь новое слово.

Не об этом шепчут мне тени прошлого. Живые люди встают предо мною и вами, читатель. И плачет, и стонет, и шутит и смеется, и брякает кандалами—кипит и живет сама жизнь каторжного острова; синеют его горы и шумят леса; и бродит в них полудикий гиляк и беглый каторжанин; и рыба плещет в реке, из берегов выпирая ее во время весеннего хода, и грозно ревет Татарский пролив, и по неделям воют бураны.

И томится душа борца за свободу среди восьмисот уголовных «тюрьмы для испытуемых». И кучка светлых и чистых, но «живых» людей,—а не ложно-классических героев,—политических ссыльных, живет среди всего этого.

Жизнь—это? Скорее—«житие».

Нет того, откуда живой человек черпает духовное вещество для жизни.

Они живут внутренним запасом.

А впечатления окружающего так жутки! От них приходится отбиваться всеми силами этих запасов. Они способны загрязнить, свалить на-земь идейного бойца в его собственных глазах.

И это—самое тяжелое. И здесь—наша гордость.

Люди уходили из жизни, стрелялись, но упавших, опустившихся не было. Ни одного.

И самые недостатки, обыкновенные человеческие недостатки живых, а не ходульных людей, — понятны, трогательны и даже симпатичны на фоне окружающей их среды и обстановки.

И пусть те, кто остался в живых из моих друзей и товарищей этого тяжелого прошлого,—пусть они простят мне, что я покажу всех их живыми людьми из плоти и крови, какими они были на самом деле. Нет и не будет человека, кто бы послал им упрек или ядовито посмеялся; ни одного из тех, кто на костях их и им подобных первых бойцов строит теперь великий храм свободы. Я покажу вам, читатель, как зрела мысль и ковалось живое человеческое сердце в этой каторжной кузнице; как росла и четко, шаг за шагом, отливалась личность в ту или другую форму, смотря по характеру, склонностям и способностям.

Не думайте, что молодой герой романа поставлен мною на это место потому, что он в действительности был какой-то центральной, типичной фигурой; или потому, что в таковую отлился впоследствии. Нет. В герои он попал, во-первых, потому, что один из всех остальных прошел полностью тяжелую школу почти двухлетней жизни в кандальной тюрьме, один-на-один с восемьюстами уголовных каторжан; во-вторых, потому, что как переживания его в этой среде, так и вся его личность и жизнь известны мне лучше других; в-третьих, потому, что вокруг этого героя и его невесты, а затем жены, вокруг этой молодой пары, ее переживаний и духовного роста—легче и удобнее для романиста группировать остальных, вполне зрелых, сложившихся лиц и самые разнообразные события, как факторов этого развития.

Не только на Сахалине слышался звон цепей в эпоху величайшего бесправия масс и величайших подвигов отдельных бойцов за свободу, и не только те цепи звенят, которые надеваются на ноги.

Предлагаемый вниманию читателя роман представляет собою лишь введение в эпоху этого мрачного звона, первый том задуманной мною трилогии того же названия.

Не ищите, поэтому, в нем чего-то вполне законченного ни в обрисовке личности героя, включая сюда его политическую физиономию, ни в изображении жизни проклятого острова, ни

в революционных настроениях эпохи, ни даже в самой фабуле романа.

Кандальная Сахалинской каторжной тюрьмы—вот центральная фигура первого тома, эта квинт-эссенция всей системы самодержавия, этот заключительный аккорд его самодурства и бесправия, этот первый, самый большой горн, в котором ковалось горячее сердце и откуда направилась дальнейшая судьба юноши иного мира.

И эта мрачная каторга пройдет здесь перед читателем с той полнотой, которую могла дать мне многолетняя жизнь бок-о-бок с ее подневольным людом, в самой гуще его повседневных интересов, страданий, радостей и огорчений, не в качестве зрителя, а в качестве непосредственного участника этой жизни.

Каждая деталь романа, как бы ни казалась она дикой и фантастичной на первый взгляд, срисована с живой действительности. «Танц-класс» попа-расстриги, поощряемый администрацией острова; ненормальный чиновник, несколько лет занимавший видный админ. пост и одновременно занимавшийся «доказательствами великого открытия, что душа женщины и душа кошки—это одно и то же»; губернаторское «дело о проглочении теленком стекла во дворе отца благочинного»; женский бунт со всеми его перипетиями; попытка восстания каторжан; убийство в тюрьме с последующим бунтом;—все это истинные факты, живая действительность, а не поэтические трюки, созданные на фоне Сахалинской каторги.

Даже самая фабула романа, несложная в первом томе по своему построению, но до отказа полная тяжелыми переживаниями, представляет собою истинную историю молодой пары, лишь с измененными фамилиями.

Имена и фамилии остальных политических ссыльных сохранены мною в подлинности, так как рассказ о них собирает воедино и пополняет личными наблюдениями, облекает в плоть и кровь те сведения, которые может дать и дает о них история революции.

В интересах сохранения стройности повествования и во избежание излишних длиннот одно из событий, а именно трагедия с т. Домбровским, и «женский бунт» помещены значительно позднее, чем они имели место в действительности. Да простят романисту эту вольность товарищи и читатели.

Пост Александровский на о. Сахалине (в 1900 г.).

В ТИСКАХ КАТОРГИ

Другу и товарищу, спутнице всей моей жизни, Ольге Михайловне Еллинской посвящаю и скорбь, и радость, и правду этих воспоминаний.

ГЛАВА I.

Мощные порывы весеннего зюд-веста потрясали бревенчатые стены и стучали закрытыми ставнями.

Тусклый огонь лампы, приделанной к простенку между двумя окнами, вздрагивал тогда и выпускал кверху длинные, коптящие языки.

Картонный абажур—со сквозными фигурками из разноцветной бумаги — погружал в полумрак большую комнату с русской печкою в углу и висящей с потолка на пружине колыбелью.

Небольшой круг света захватывал только простой еловый стол, над которым склонилась темнорусая кудрявая головка девушки-подростка лет 15-ти.

Ее худенькая рука с пером в запачканных чернилами пальцах быстро бегала по тетради. Тут же виднелась кучка книг, разбухших и пожелтевших, в потрепанных переплетах.

В большом, глубоком кресле по другую сторону стола чуть виднелся в тени абажура силуэт мужчины в черной куртке и охотничьих сапогах.

Машинально покачивая ногой висевшую колыбель с ребенком, он время-от-времени докторальным тоном диктовал девушке закругленные, уверенные фразы лекции по философии.

Сонно поскрипывала колыбель, выла за окном мятель, и странно звучали в закопченной избе такие чуждые всему этому стройные мысли философа, человека далекой западной культуры.

— Движущей силой процесса мирового развития Гегель признавал силу абсолютной идеи,—нервно звучал слегка надтреснутый голос лектора. — Так как Гегель считал, что ему удалось построить систему абсолютной истины, то, рассуждая в духе его же идеализма, приходится признать, что цель непрерывного движения уже достигнута, истина найдена, ибо дух в лице Гегеля пришел к самопознанию, и больше итти некуда и незачем.

Лектор оживился, бросил качать ребенка и наклонился над столом.

Из тени выступил большой лысеющий лоб с заливами, сверкающие очки и узкая седеющая борода.

— Понимаешь ли ты, Маня, всю опасность этого философского консерватизма для развития общественного самосознания?

Нервным жестом Бражников схватился за бороду, раза два пропустил ее сквозь пальцы и затем крепко дернул книзу, что всегда служило у него признаком умственного возбуждения.

Девушка подняла голову. В задумчивых глазах ее блеснули веселые искры при виде привычных, но всегда смешивших ее жестов учителя.

Ничего не ответив, она чуть улыбнулась углами маленького пухлого ротика и погрузилась в свои мысли, машинально глядя на цветные фигурки абажура.

— Правда, Герцен называл философию Гегеля алгеброй революции...—точно откуда-то издали доносилось до нее, но мысли никак не хотели сосредоточиться на лекции и упорно возвращались к абажуру.

— Надо бы покрепче прибить его к стенке, а то едва держится... и куда только Броня задевал все гвоздики? А какой смешной этот дядя Бражников и... скучный; все знает, во все вмешивается, везде поучает... Даже этот абажур: Маня сама сделала его, вырезала на нем звездочки, цветочки, зайчиков, и так ловко подклеила их цветной бумагой. Только лампа приделана очень близко к стене и абажур никак не хотел на нее одеваться. Что же сделал дядя Бражников? Он взял большие ножницы, разрезал пополам ее прекрасный абажур и одну половинку прикрепил к стене кнопками над лампой. Все только рты разинули. А он еще нотацию читает: — Мысль человеческая в спячке находится, пока ей мешает рутина старых традиций... — и пошел, и пошел... подумаешь!

Девушка досадливо повела плечами и покосилась на учителя.

— Алгебра революции! — с пафосом воскликнул тот, нещадно теребя свою бороду. — Но, с одной стороны, нельзя не упрекнуть уважаемого Александра Ивановича в излишнем увлечении при такой категорической оценке, а, с другой стороны, значение сущности философии Гегеля и значение принятого им диалектического метода диаметрально противоположны по своей ценности! Маня! Ты слушаешь?

Маня молча кивнула головой и опять ушла в свои мечты, где философия Гегеля забавно переплеталась с платьем окружной начальницы, которое она видела на ней в прошлое воскресенье. Цвета морской воды, совершенно как эта звездочка на абажуре... Вот счастливица!

— Диалектика! Вот где стержень научного познания! Уже у Платона встречаем мы это выражение, но Гегель...

Но что сделал Гегель с этим стержнем познания, так и не удалось договорить горячившемуся лектору.

Точно целый эскадрон кавалерии промчался откуда-то и с топотом и гулом ударился в стену.

Избушка затряслась до самого основания; хлопнули распахнувшиеся ворота; лампа чуть не погасла, и самодельный абажур слетел на пол.

Маня бросила перо, которое машинально вертела в пальцах, и нагнулась за абажуром.

Бражников растерянно поверх очков посмотрел на лампу, на большую кляксу, оставленную брошенным пером на тетради, и, покрутив головою, откинулся на кресле.

Ребенок запищал и зашевелился в люльке.

Маня принялась перестилать ему пеленки.

— Дядя Вася! Согрей молочка на лампе. Нюська кушать хочет! — крикнула она, проворно ворочая в колыбельке маленькое кряхтящее существо. — Ишь как губами чмокает! На! вот тебе пока «стержень познания»!» — и, бросив плутовскую улыбку в сторону лектора, она всунула в рот малютки резиновую соску с костяным колечком, подвешенную на шнурочке к пологу колыбели.

— Что-то отец с Броней не идут долго?.. Там ворота, кажется, оторвало... Надо посмотреть, — озабоченно роняла она, накидывая на одно плечо широкую барнаулку, висевшую у двери, и выскакивая из комнаты.

Бражников молча согрел молока в маленькой жестяной кастрюльке, наполнил бутылочку, надел на нее соску и, методически причмокивая, начал пробовать—не очень-ли обжигает губы.

Фигура его в охотничьих сапогах выше колен, с задранной кверху бородой, в очках, сверкающих на лбу, с профессорской лысиной и с детской соской в зубах, была до-нельзя комична и трогательна.

Не обращая на это ни малейшего внимания, он дождался, пока молоко остыло до нужной температуры, обмыл сосок в кружке с кипяченой водою и, нагнувшись над колыбелью, заботливо вложил его в жадно ищущий ротик малютки.

Приветливо усмехнувшись ее довольному чмоканью и сопенью, он сел опять в кресло и, откинув голову, усталым взглядом обвел комнату.

Черный от копоти, низкий потолок, конопаченные мохом стены. Как давно знакомо все это!

Вот в простенке стол обеденный; он же и для занятий; два ободранных кресла и несколько стульев с высокими спинками. По сторонам деревянные крашеные диваны, покрытые оленьими шкурами. У свободной стены буфет—гордость пана Форминского, хорошего столяра «по вольной жизни». На окнах тщательно подштопанные обрывки кисейных занавесок и два горшка с геранями.

Трогательное убожество мелко-буржуазного уюта. И к чему все это?

Вон дверь в соседнюю комнату, сравнительно недавней пристройки.

Свет лампы, лишенной теперь абажура, выхватывает из темноты кусок одеяла, сшитого из разноцветных лоскутков, и белую гору подушек. Вдали ярким пятном блестит овальное зеркало на комоде, кисти вязаной покрышки и ряд фотографических карточек.

И дальше: комната Мани, смахивающая на клетушку, но на веселенькую клетушку. Знаете, бывают такие клетушки; два шага на два, где молодость и женская рука, с помощью самых нехитрых средств — разных ненужных вещей, японских вееров, бантиков и еще «чорт знает какой дребедени»—делают чудеса.

— Ох, уж эти женщины!

Бражников сердито фыркнул и, достав об'емистый кожаный портсигар, принялся нервно скручивать толстейшую папиросу.

— Положительно нельзя жениться нашему брату-революционеру. Вот уж никогда не сделаю такой глупости. Жена — это тяжкая гиря, вечно тянущая в сторону мещанского уклада жизни... А ребята? Особенно девчонки!..

В сенях послышались оживленные голоса, шарканье ног, заботливо обивавших снег у порога, и в комнату друг за другом вошли двое мужчин, мальчик лет 10-ти и пожилая женщина.

Старомодная шляпка в виде наколки со стеклярусом, закрепленная черными лентами у подбородка, и потертый драповый салоп на белках, с меховым порыжелым воротником,—напоминали лучшие времена, о которых она упорно старалась напомнить и здесь, наперекор «кому бы то ни было».

«Трэн жизни» революционера, о котором вечно толковали Бражников со Штернбергом, осточертел ей до тошноты.

Пусть другие везут этот дурацкий трэн хоть в оленьих шкурах, как гиляки, а с нее довольно!

У нее, слава богу, растет дочь; и она не позволит сбить ее с толку, как сбили ее самое в Варшаве эти партийцы пресловутого «Польского Пролетариата»! Вот мучайся теперь здесь; ведь почти 20 человек... А сколько перевешано в цитадели?

Оттенки таких упорно-протестующих мыслей ясно читались на увядающем лице с энергичными черными бровями, когда она величественно следовала в свою комнату, мимо насмешливо смотревшего на нее Бражникова.

— Куда это вы запропастились до сих пор?—недовольным тоном бросил он возившимся у вешалки мужчинам, вставая с кресла и принимаясь шагать по комнате:—А! И ты, Адам, здесь? У Плосских, верно, были? Ну, что слышно?

— Погодите, Василий Петрович! Все по порядку, коханый мой! Ну, здравствуйте—еще раз!

Хозяин дома, пан Форминский, размотал, наконец, вязаный гарусный шарф и вылез из широкого овчинного тулупа, отрывая ледяные сосульки с длинных польских усов.

— Да ведь здоровались уже сегодня, пан Адольф! — ворчал с невольной улыбкой Бражников, пожимая широкую мозолистую руку товарища:—И когда только вы отвыкнете от этих ваших польских «гжечностей»?

— Хо-хо-хо!—раскатился по избе могучий голос хозяина. Крепко подернутая сединой копна его подстриженных в скобку волос затряслась над низким лбом. Широкий шрам, пересекавший висок и отхвативший верхушку уха, — след казацкой шашки во время повстанья,—налился кровью, и всей своей крупной костистой фигурой он повалился в кресло. — Чуешь, жона, цо то мувит «Папа Римский»? Хо-хо-хо! Хе-хе-хе! Ох!

В соседней комнате слышалось только недовольное звяканье чайной посуды.

— Да уж, видно, никогда не отвыкнет,—произнес, подходя к столу и потирая озябшие руки, Адам Серошевский. — Гжечность пана пшиходит границы пшезвоитосц, — закончил он при общем смехе, садясь на место. Глаза его весело сощурились под широким нависшим лбом, и лучистые морщины собрались в углах их «гусиными лапками».

— Пани Форминска! Чай скоро? — кинул он в соседнюю комнату: — Броня! чего стал? Тащи самовар, помоги маме.

Высокий худенький мальчик в серой курточке из тюремного бушлата послушно принялся копошиться у печки, раздувая угли и гремя самоварной трубою.

— Ладно уж! Какой я «Папа Римский?» — добродушно усмехнулся Бражников.

Для него не была тайной эта кличка, данная женами ссыльных товарищей за его постоянные замечания об их буржуазном укладе, дышавшие всегда суровой авторитетностью.

Между тем, на столе появился поднос с разнокалиберными чашками и стаканами, корзиночка с нарезанными ломтями хлеба и ярко красные куски соленой кеты, аппетитно уложенные на тарелке.

Пани Форминская, бесшумно скользя по комнате в мягких суконных чунях, достала из русской печи чугунок с горячей картошкой, задернула полог у колыбели и водворила абажур на старое место.

Снова приятный полумрак охватил комнату, оставляя в кругу света только стол с наставленной на нем снедью и обветренные, загрубелые лица собеседников.

— А что же Маня? Спит? — вопросительно протянула хозяйка.

— Ушла с час тому назад. У Гюбшеров верно!—недовольным тоном буркнул Бражников, оставив свой стакан с чаем и тыкая вилкой в тарелку с кетой. — И знаете, что я скажу вам, пани Форминская? Пусть я буду римским папой, это как вам угодно,

но в сотый раз повторю, что ваша система воспитания, вернее, полная какая-то биологическая бессистемность его, не доведет до добра девочку. В 15 лет у нее голова набита шляпками, тряпками, бантиками и еще чорт знает чем. Интереснейшую лекцию о значении принятого Гегелем диалектического метода она, можно сказать, в одно ухо впускает, в другое выпускает!

— Н-ну! Куда ей диалектический метод? — примирительным тоном промычал с набитым ртом пан Форминский.

— Помилуйте! Ведь это, так сказать, поворотный пункт в истории философии! Это ключ к материалистическому мировоззрению! — горячился старый энтузиаст, дергая себя за бороду и строго глядя поверх очков на усмехавшегося в усы товарища.

— Выйдет замуж, вот и явится материалистическое мировоззрение, само собою, без всяких таких ключей! Я давно это говорю, а вы все напротив, все напротив!—сентенциозно изрекла пани, покачивая в такт речи седеющими буклями подвитых на лбу волос.

Адам поперхнулся чаем, выскочил из-за стола и повалился на диван, разразившись страшным хохотом.

— Ох, ох! Не могу больше!—стонал он, хватаясь за бока: — Ну, удружили, пани!.. Пропал Гегель! Ему век не додуматься бы до такого вывода!

Форминский, держа блюдечко на растопыренных пальцах, сосредоточенно дул на горячий чай и поглядывал то на того, то на другого.

Ему не совсем ясно было положение дел, и он дипломатично молчал, боясь попасть впросак.

— Это не смешно!.. Это—дико! Это нелепо! Это — преступление!! — все повышая голос, гневно восклицал оратор, стуча по столу вилкой с насаженным на нее куском кеты. — В угоду своим мелко буржуазным традициям, вы тянете молодую душу в тину мещанских интересов! К ее услугам лучшие условия, которые только можно придумать в наше время тяжкой политической реакции, беспросветного холопства и нравственной прострации. Ей выпало уделом расти в среде политических ссыльных, революционеров мысли, которыми мы все обязаны оставаться, хотя бы крылья активности и были у нас обрезаны. И наша мысль, наше слово здесь, на каторжном острове, свободнее, чем были там, на воле. Какого пышного расцвета гражданского самосознания, какой глубины научного миропонимания, какой кристально-чистой этичности молодая душа может достигнуть в такой школе! А вы—замуж выйдет! Эх вы,—женщины!

— Ничтожество — вам имя, как сказал принц Гамлет!— в тон подхватил Серошевский, вставая с дивана и вновь пристраиваясь к столу. Он состроил благочестивую мину и закатил глаза к небу.

— А тебе смешно?!—укоризненно покачал головой Бражников, протирая запотевшие очки.

— Да будет вам, господа! И охота спорить и горячиться! Конечно, не дело, что Манька убегает с урока и до полночи сидит у сестры. Вот я, ужо, проберу ее, — примирительно заключил пан Форминский. — А ты, Адась, лучше выкладывай обещанную новость. Понимаете, Василий Петрович? Возвращаемся мы с женой от Плосских; он-то еще на вечерних занятиях в канцелярии, отчетность там, знаете, кончает... Ну, а Зося одна дома и, как всегда, нервничает, прямо не подступись: и то нехорошо, и это неладно. Вот мы с часок помаялись с ней да и пошли себе к дому. Идем мимо окружного управления — смотрим — Адась оттуда. Узнал, что Зося не в духе:—«Не пойду, говорит, домой, лучше к вам пока; пусть Эдмунд сам со своей благоверной цацкается». Ну, к нам, так к нам. — «А угадайте, говорит, какая у меня есть новость!»—Какая, да какая?—Так и не сказал. — «Обождите до дому, вот и все!» — Ну, выкладывай теперь!

Только дважды получались известия из «России» в этом гиблом месте с пароходами Добровольного Флота. Весною, вместе с мужским «сплавом» каторжан, и осенью—с женским.

Правда, в продолжение лета раза 3—4 заглядывали в пост Александровский небольшие пароходы из Владивостока, но—кроме товаров для местных лавочников и генерал-губернаторских циркуляров—от них не было ни красы, ни радости.

Зимою, от Рождества до середины апреля, еженедельно приходила нартовая почта на собаках из Николаевска, но и с ней, кроме случайных писем, трудно было ждать каких-либо интересных сообщений.

Немудрено, что все лица сразу стали серьезными и с напряженным вниманием уставились на обладателя новости.

Понимая общее настроение, тот не заставил себя долго просить и, разгладив усы, торчащие по сторонам остроконечной бородки, начал торжественным тоном:

— Час тому назад получена телеграмма из Владивостока, что пароход «Ярославль» в числе весеннего сплава везет двух политических каторжан — Сосновского и Солодовникова, — содержать каковых надлежит согласно секретного предписания от самого начальника департамента полиции Муравьева. Самого предписания еще нет. Очевидно, будет получено позднее с остальными их документами.

— Да! Это новость интересная,—проговорил Бражников, задумчиво пощупывая бороду. — А по какому процессу?

— Ничего не сказано. Но погодите, это еще не все. Одновременно, говорят, получена вторая телеграмма от командира «Ярославля» на имя жены начальника округа. В ней сообщается, что за Сосновским следует его невеста, совсем юная девушка,

консерваторка. Командир аттестует ее, как дочь своего старого друга моряка, и просит оказать возможное содействие к ее устройству в порядочном семейном доме. Вы ведь знаете, что командир Остолопов хороший знакомый Турских. Турская сейчас же ответила, что лично приедет встретить девушку и поместит ее пока у себя.

— О-о!? Это уж чересчур! — так и вскинулся Бражников, как боевой конь при звуке трубы. — Это уж не-ет! Невеста товарища обязана поселиться у своих, а вовсе не во враждебном нам лагере; хотя бы мадам Турская и была самой достойной дамой, приятной во всех отношениях! Да-с!

— Ничего тут нет ужасного,—вмешалась пани Форминская.— И что вы, мужчины, понимаете? То-есть, ровным счетом—ничего. Ваше дело—партийное: Гегель там, революция, методы разные... Вот! А в семейном деле?.. Ф-фа! — Она брезгливо отмахнулась рукой и, подняв ее кверху, стала загибать пальцы, отсчитывая один за другим: — Первое то, что Сергей Николаевич и Елена Александровна — люди вполне порядочные и развитые. Вы сами говорили это еще недавно. Второе то, что девушка эта консерваторка, и ей придется жить уроками музыки; значит, дом нужен в центре, а не где-нибудь в Малой Александровке или на Рельсовой улице. Третье то, что где, у кого ей поместиться из наших? У нас?—Вы видите—теснота, да и даль какая, у самого кладбища. У Плосских? — Там Зося со своими нервами с ума сведет кого угодно. Вон Адам—мужчина, и тот сбежал сегодня. Кто еще? Словики?—Бедность, куча ребят и живут на краю света, вроде нас. Шмаусы?—Ютятся в одной комнате, и сын у них больной, почти не встает. Кто еще? Остальные все холостяки; живут коммунами; грязь у них, дикость. Что-же ей, в работницы итти к ним, бугаям ленивым?

— А что? Неправду я говорю?—набросилась она на мужа, заметив его протестующий жест.—Товарищи, так и по головке их гладить? Ты что без меня бы делал? В грязи потонул бы?

— У вас со Штернбергом тоже не пристало молоденькой девушке, — снова обратилась она к Бражникову, который, насупясь, молча смотрел в стакан с остывшим чаем. — Все же вы люди холостые, хотя и образованные. Он или на уроках целый день, или с книгами да писательством своим, а вы еще кроме того и от водочки непрочь, Василий Петрович. Это уж я прямо скажу вам, как товарищу мужа... Да-с! Что же ей у вас, с тоски повеситься, что ли?

Воинственно настроенная пани трясла головой, а Бражников, нервничая и сдвинув очки на кончик носа, готов был дать должный отпор, когда в сенях послышалось шарканье ног, дверь хлопнула, и в комнату вошел высокий человек в черном драповом пальто, пледе и круглой оленьей шапке с наушниками.

— Штернберг! Лев Яковлевич!—раздались восклицания.

— Вот кстати! Раздевайтесь-ка, послушайте, какие новости!

— Те-те-леграмма о но-новых товарищах? Знаю!—с заметным заиканием произнес тот, сбросив на диван пальто и отряхивая шапку от налипшего снега. — Н-ну, и холод с-собачий! А еще первое мая завтра! Не пройдет наша маевка; снег везде—грудами!

Пожав руки товарищам, он присел к столу и сосредоточенно принялся вытирать платком покрытые сосульками усы и бороду.

Весь он был черный, как жук, с узким, интеллигентным лицом слегка еврейского типа, шапкой курчавых волос и умными глазами, холодно и проницательно глядевшими из-под густых сросшихся бровей.

Поминутно лицо это искажалось нервными гримасами. То дергался один глаз вместе со щекой, то другой, то оба вместе. При этом голова тряслась, наклоняясь на бок, и рот болезненно кривился.

Речь начинал он всегда с сильным заиканием и гримасами, но затем усилием воли справлялся со своим недостатком и говорил гладко, книжным языком, с длинными, закругленными периодами и массой иностранных слов.

Будучи человеком в денежном отношении независимым и в пределах острова совершенно свободным, он по временам совершал этнографические экскурсии по гиляцким селениям и писал книгу «О формах первобытной семьи», почему среди товарищей и начальства считался «ученым».

К мнениям его товарищи прислушивались так же, как и к мнениям Бражникова, даже еще внимательнее; в нем как-то меньше было оппозиционной страстности, меньше пуританской нетерпимости и больше снисходительного отношения к человеческим слабостям и нетребовательности героизма от усталых, замученных людей.

Но в сегодняшнем случае он, видимо, склонялся на сторону Бражникова, хотя и допускал возможность некоторого компромисса.

— Видите ли, друзья мои! Разбирая данный вопрос как по существу, так и применительно к обстоятельствам, мы встречаемся в нем с двумя совершенно различными плоскостями. Задача, которую требуется разрешить, заключается вовсе не в том, чтобы одна из этих плоскостей исключала другую. Конструкция общечеловеческих моральных взаимоотношений, уже сама по себе крайне сложная, как категория этического характера, еще более усложняется в данном случае внедрением элемента борьбы, отстаиванья групповых интересов у двух диаметрально противоположных политических лагерей.

Штернберг перекосил на секунду лицо привычной гримасой и, отпив глоток чая, продолжал, как бы читая по книге.

— В силу этих предпосылок, вопрос распадается на две части, или может быть рассматриваем в двух плоскостях: общечеловеческой и партийной; причем к каждой из них в свою очередь существует два логически-законченных подхода: теоретически-ортодоксальный и узко-практический. Но лежащая перед нами задача только на первый взгляд кажется дилеммой; при более глубоком рассмотрении она разрешается вполне удовлетворительно. Помня, что партийность ни в коем случае не должна открещиваться от общечеловеческих категорий, чтобы не обратиться в излишний фанатизм, мы тем самым уже расширяем и практическую постановку вопроса, придавая ему уклон по линии наименьшего сопротивления.

— Да ты к чему клонишь-то, Лев Яковлевич?—вмешался Бражников, нетерпеливо барабанивший по столу нервными пальцами узкой, сухой руки и уже раза два принимавшийся дергать себя за бороду.—При чем тут фанатизм и линия наименьшего сопротивления? Или ты готов благословить вступление невесты ссыльного товарища в семейное лоно его тюремщика?

Все загудели и зашевелились.

— И вовсе не тюремщика!—не вытерпела опять пани Форминская. — А образованного и порядочного человека! Что дурного мы от него видели? Не сами-ли вы говорили...

— Жóна! жóна!—восклицал пан Адольф.

Серошевский молча попыхивал папиросой, искоса поглядывая на спорящих.

Он и сам был бы непрочь найти «линию наименьшего сопротивления», чтобы сбежать из «тихого семейства» товарища Плосского, но, к сожалению, таковой не отыскивалось, а 10 рублей жалованья за канцелярскую работу в управлении было слишком мало, чтобы зажить самостоятельно. Холостецкие-же коммуны были настоящими бездонными бочками. Сколько туда ни всаживай денег, все равно будешь сидеть голодный; как-то не умеют ребята, чорт бы их побрал... да и, действительно, ленивы, как бугаи, по части домоводства.

— По-по-позвольте! Позвольте!—заикался Штернберг.—До-до-дослушайте мысль до конца! К чему го-горячиться и делать поспешные выводы? Ничего подобного я не хотел сказать! Вот конечная мысль: мы едем на пароход и предложим невесте Сосновского временно поселиться у нас; ну, на неделю, на две; я уступлю свою комнату, так как все равно думал двинуться на север к Охотскому морю; там у Набильского залива есть интереснейшие юрты черных гиляк, как их здесь называют. Ну, уеду на неделю раньше, чем думал, только и всего. За это время ее можно познакомить с семьей доктора Ларова. Это, действительно, личность, достойная уважения, более чем либеральных убеждений, и вся семья его в постоянной оппозиции к губернатору

и его сателлитам. Люди эти безусловно самые близкие к нам по своим политическим симпатиям и всему этическому складу. Вот вам та линия наименьшего сопротивления, о которой я говорил! Но все же я категорически настаиваю, чтобы первый шаг на каторжном острове был сделан ею в сторону товарищей ссыльного жениха, а не в лагерь его политических врагов. Noblesse oblige!

Опять хлопнула дверь, и в комнату вбежала запыхавшаяся Маня.

Увидев многочисленное сборище, окруженное волнами табачного дыма, она шаловливо сделала общий реверанс и, сбросив барнаулку, поспешно подбежала к матери.

— Знаешь мама...—послышался ее оживленный полушопот,—какой заказ получил дядя Гюбшер? Поплавский—этот длинный, что на почте служит, чиновник,—принес ему целый ворох сукна, то-о-нкого, тонкого; черного. И заказал сшить «Пальмерстон с капюшоном». Так и сказал:—«Пальмерстон с капюшоном!»—Уж я хохотала, хохотала... И 15 рублей задаток дал. Вся работа будет 25 рублей стоить. Теперь сестра муки купила целый мешок, самой лучшей; и булки ставит... И еще....

— Ну, мы, однако, засиделись. Ого! Почти двенадцать!

Гости поднялись и стали прощаться.

Маня ушла к себе, а старики, наскоро прибрав со стола, захватили лампу в соседнюю комнату, и скоро оттуда послышалось кряхтенье пана Форминского, с усилием стаскивавшего с ног размокшие в теплой комнате чуни.

Бронек давно уже спал, забравшись на широкую лежанку русской печи.

— А за-напрасно ты, жóна, зáраз берешься спориться с Бражниковым,—довольно робко начал пан Форминский. Справившись, наконец, с непослушной обувью, он, отдуваясь, уселся на кровать и машинально смотрел, как проворно работали пальцы его пани, заплетая на ночь еще густые и длинные косы.

— А цо такего? Почему его нельзя уж и тронуть, когда он говорит глупство?—огрызнулась она, по привычке мешая польские слова с русскими.

— Ах, ты все не хочешь понять: не на воле мы, а в плену живем. Обожди, дай сказать! Мы партийцы, социалисты; на воле мы старались об'единить наш пролетариат и делали пропаганду социализма.

— И очень глупо! Зато и попали сюда!

— Обожди, жóна! Как же тебе не ясно, что здесь, в плену, наш долг самим следовать тому же, чему других учили; наш долг держаться дружной кучей против царистов... Пусть они даже хорошие люди будут, по человечеству! Но нельзя позволить им пробить брешь в наших рядах. О! Партия польского пролетариата

разбита, как и наше старое повстанье. Но знамя социализма мы держим! О! Бражников не нашей партии, он москаль, пусть так! Но он против царизма, против наших угнетателей. Поняла? Значит, и знамя у нас общее! О!

Пан Форминский поднял руку кверху и заключил повышенным тоном:

— А учит он доброму, учит вместе держаться и не срамить себя перед царистами. Чуешь теперь? И детей наших учит грамоте и разным наукам; мы с тобой и не нюхали таких в Варшаве, да и другие рабочие тоже.

— Ах, не говори ты мне про Варшаву! — вскипела пани, с сердцем взбивая подушки. — Или так жили мы в Варшаве, как здесь? Что? Или не был ты столяром — хорошим, майстером? И не было у тебя своей мастерской? И не величали тебя паном Адольфом самые лучшие, богатые заказчики? Что? Не так все это было? А теперь? В насмешку или как, зовут нас «пан» да «пани»? Слушать обидно! Вон, салопу моему восьмой год пошел... Воротник рыжий... На шляпке стеклярус весь облез... А ты в тулупе, как мужик деревенский... Картошка да кета соленая со стола не сходят... Не то, что там ветчина, полендвица или гусятина, а и про бигос или свинину с хреном давно забыли! А, бывало, по праздникам в Саксонский сад пойдем: на тебе костюмчик новый, часы с золотой цепочкой; а у меня зонтик шелковый, перчатки, накидка кружевная... А дочка родилась... Помнишь — крестины какие устроили? Колыбель в кисее вся, в лентах; гостей человек сорок; и все сыты, все веселы... Вечером танцы, мороженое, вино, мед из лучшего погреба... И все своим трудом, своим умом, без чужой указки заработано. А теперь?

Пани Форминская опустилась на стул и нервно смахнула слезу.

— Что дала тебе твоя партия? Какого еще «пролетариата» понадобилось тебе? Забыл ты цитадель? Централы? Забыл, как пошло прахом все гнездо наше? За бесценок в чужие руки пошло... Годами, трудом, потом добытое. Э-эх! Холод, голод, рвань старая на плечах... Из чужих рук смотреть должны. Чужим умом жить приходится. Вот что дал социализм твой! Вот что дала партия! Знамя общее? Не нужно мне этого знамени! Обидно человеку самого себя потерять. Вот что! Пойми ты это! Голова седая, а дурь в ней, как у мальчика! Бражников? Штернберг? Да ты что? За ними тянуться хочешь? Они люди ученые, да и холостые. Им что? Небось, везде впереди встанут. Да и знаешь ты что ли, как они там на воле жили? Нет, не знаешь? И я не знаю. Только, наверное, там командирами большими не были, а то бы и сюда не попали. А здесь он — «Папа Римский»: то можно, этого нельзя! Что-о? Доброму учит? Помогает? Да я доброе-то и без них отличить сумею. Вон распятие-то! Что же, ихнее добро выше, что ли? А кусок-то их мне вот где, поперек

горла стоит! К своему куску я привыкла! А здесь — берешь... А на сердце, вот тут, накипает...

Она всхлипнула и, постучав по впалой груди, сложила на коленях загрубелые от черной работы руки.

Пан Форминский молча глядел на нее и чесал в затылке.

И бесконечно жаль ему было верной старой подруги своей искалеченной жизни.

И все же знал он, старый повстанец, что правда на его стороне, что недаром он жил и не напрасно выходил вместе с другими—такими же, как он, ремесленниками и блузниками—на площадь с оружием в руках; знал и попросту думал, что не в личном благополучии счастье.

Знал он, что прав, и совесть его была спокойна.

Но из многолетнего опыта видел, что слова тут бесполезны.

— Приватна женщина была, такой и останется. Партийной из нее не сделаешь,—выше лба уши не растут.

Со вздохом откинул он одеяло и стал укладываться.

Долго еще в маленькой комнатке светился огонь. То пани Форминская штопала детское белье. Изредка опускала она работу на колена и печально слушала завыванье ветра и тяжкие, ритмичные удары сердитых волн о песчаное подножье высокого берега.

ГЛАВА II.

Владимир Дмитриевич Мерказин, военный губернатор о. Сахалина, сидел в угловой гостиной, выходящей на террасу и, пробегая глазами только что принесенный метеорологический бюллетень, машинально прислушивался к брюзжанью своей экономки.

— Хм! Хм!—внушительно, по-генеральски покрякивал он, разглаживая на обе стороны длинную, до половины груди, белую, как серебро, бороду и бросая в окно задумчивые взгляды.

Там, из-под золотисто-желтых сборов подхваченной кистями портьеры, сквозь падающий снег виднелись обледенелые ветви большого запущенного сада.

Пологим скатом спускался он от широкой террасы, теряясь в тумане живой снежной завесы; смотреть на нее долго — было трудно: рябило в глазах от быстро-льющегося белого каскада; и генерал опять переводил старчески-бесцветный взгляд свой на сидевшую напротив него собеседницу.

Чернобровая, средних лет женщина, с живыми задорными глазами на когда-то красивом лице, шумно перемывала стаканы в серебряной полоскательнице и говорила без умолку. Кончики фиолетовой шелковой «кички», под которой по-купечески были туго запрятаны ее волосы, сердито тряслись на темени, а покрытые

перстнями пальцы, короткие и широкие, работали почти так же проворно, как и язык.

Видно было, что это бой-баба, привыкшая никому не давать спуску и давно прибравшая к рукам своего генерала.

— Давеча опять: выхожу на двор корову посмотреть, и что же? — продолжала она допекать его давно надоевшими ему кляузами. — Смотрю: чьи это опять куры бегают вместе с нашими? Гляжу—попадьи Углицкой. Ах, ты—думаю; да что же это такое? Только крупы насыпала своим, а они опять тут-как-тут! Взяла и позапирала их в сарай.

— Ну, уж ты это напрасно, Евдокия Петровна.

Генерал потер высокий лоб и недовольно отодвинул бюллетень:

— Опять эти дрязги пойдут. Ты ведь знаешь отца благочинного? Чуть что,—архиерею писать, генерал-губернатору, чорт знает кому... Срам один!

— Скажите пожалуйста! А это — не срам? — подхватила Евдокия Петровна, вставая из-за стола и берясь за бока. — Это не срам — кричать на всю улицу, будто я нашего теленка сама битым стеклом обкормила и по злобе на них в суд подала? А когда правда, мол, наружу вылезла, ты испугался и дело под сукно велел спрятать! А еще, мол, губернатор! Начальник острова! Что? Это как по вашему?

Генерал вспыхнул и нервно запахнул на груди ярко-желтые отвороты форменной тужурки образца забайкальского казачьего войска.

— Сегодня же прикажу пересмотреть дело и доложить мне! Что за безобразие! И дернуло же тебя подавать тогда в суд! Ну, зашел теленок во двор к попу, ну, проглотил там стекло какое-то, издох... ну, и чорт с ним! Сама же виновата, зачем забор до сих пор починить не приказала... Так нет! Следствие целое навела, ветеринара, вскрытие... Протокол... Что это? К чему? Я, мол, им покажу! Я их упеку!.. Куда ты их упечешь? Что покажешь? Бабьи дрязги одни, больше ничего!

Евдокия Петровна, поджав губы ниточкой, язвительно улыбалась и в такт покачивала своей «кичкой».

— Та-ак, та-ак, батюшка Владимир Дмитриевич! Еще скажи, какое умеешь, спасибо за мою верную службу. Тридцать лет вместе живем, тридцать лет добро твое соблюдаю. И вот... Спасибо, спасибо на добром слове!

Она театрально поклонилась в пояс и, по-деревенски сложив руки над животом, продолжала невинным тоном:

— Только уж не прогневайся, если в газеты попадешь через это самое твое потакательство.

— Как в газеты? В какие газеты? Что ты мелешь?

— Обыкновенно, в какие: во Владивостокские. Собственными ушами слыхала, как отец Александр грозился: — В газеты вас,

мол, пропечатать надо, сатрапы вавилонские!—Рядом-то ведь, стена об стену с благочинным-то Ларовы живут, ихние благоприятели... — конфиденциально наклонилась она к генералу. — А к ним, значит, постоянно то один, то другой забегает из этих, лохматых-то, политических. Вот и напишут. Как пить-дать напишут, если не приструнишь ты хорошенько, Владимир Дмитриевич, всю эту шайку. Ох, помяни мое слово — напишут!

Она погрозила пальцем и опять многозначительно поджала губы.

— И опять же... ты вот серчаешь, когда я говорю:—нечего, мол, к Турским ходить и на Елену Александровну пялиться! А напрасно! Совсем даже напрасно! Конечно, вы человек, хотя и немолодой, а все же в соку еще...

Генерал погладил бороду и приосанился.

— Оно, конечно, вам лестно возле молодой барыньки крылом почертить; да и я хорошо понимаю, что вам прискучило все со мной, старой... Да! А только я, Владимир Дмитриевич, недаром на свете прожила, возле всяких людей терлась, и, можно сказать, теперь на три аршина в землю вижу!

— А ну, что ты видишь? — уже благодушно сказал генерал, присаживаясь опять к столу и наливая сливок в стакан с чаем.

— А то, что и Турский этот заодно с ними. И со всей этой ашатией не зря он компанию водит и политикам потакает. В канцелярию их к себе насажал, жалованье платит... Чиновников каких нашел! Подумаешь! И сам он из образованных, лицеист или как их там... И с Ларовым, и с отцом Углицким в дружбе. Подгорский, заведующий медицинской частью, эта старая лисица— у него бывает. А это, сам знаешь, человек какой; не зря его каторжане иудушкой прозвали! Он и так на тебя донос за доносом строчит.

— Да ты чего разводишь? Чего тянешь-то? Говори толком, что ты видишь из всего этого? — нетерпеливо прервал генерал, начавший что-то соображать. — К чему ты гнешь-то?

— А к тому, что Турский—родственник генерал-губернатору, и если писаки эти начнут в газеты строчить, а он дядюшке, то как бы не слететь вам, Владимир Дмитриевич, с места своего. Вот что!

— Эх, куда махнула! Да что же, по твоему, в кандалы мне их заковать, что ли? А самому бирюком дома сидеть?... Выдумаешь!

— Зачем в кандалы? А вы отпишите куда следует, что такие-то и такие-то, и сам, мол, начальник округа Турский— неблагонадежны: с политиками компанию водят, послабления им напротив закона совершают... без вашего, мол, ведома и разрешения... Вот оно и выйдет дело совсем наоборот, чем они думают. Слыхали, чай, какую телеграммку Турская получила:—приютите,

мол, невесту каторжанина политического, окажите всякое содействие и прочее... Это что же по-вашему?.. А по-моему:—рыбак рыбака видит издалека... Старая пословица-то. Знают, что Турский политиков поддерживает, да хоть и начальник округа, а, почитай, — свой брат им, в бунтари смотрит. Вот то-то и оно-то! Небось, не к вам обратились. Как же! Подадут они прошение покорное о снисхождении!? Вас-то миновали? И не спросили даже? Точно и не хозяин вы здесь, на острове! Ох, наберетесь вы хлопот, Владимир Дмитриевич, со шайкой этой! Слабы вы. Распустили очень... Попомните мое слово!

— Чорт знает что такое! С тобой не сообразишь... Вот язва-баба! Расстроила теперь на весь день,—полусердито, полурастерянно забормотал генерал, отодвигая кресло и вставая из-за стола.

— Шинель! — крикнул он, выходя в переднюю. — Если что, так я—в своей канцелярии... Приема сегодня не будет!

— Слушаю-с, ваше пр-во! —отчеканил денщик, подавая бобровую шинель и, захлопнув дверь за генералом, молодцевато вскочил в кухню.

— Ну, и волынка сейчас была у наших-то! — начал он, доставая папиросу и постукивая ею по крышке жестяного, с зеркальцем, портсигара. — Приревновала Авдотья индюка своего к окружнихе. Политики, говорит, про это самое в газеты напишут.

— Да ну! Вре-ешь! —хором протянули сидевшие на кухне за чаем два вестовых, кучер и повар, возившийся у плиты.

— Чего врать? Сам слышал!—подтверждал тот, закуривая. — Сижу это я в передней...

— А вы чего тут расселись? Ишь хвостобои, шпана проклятая!—затрещала, появляясь в дверях, Евдокия Петровна. — Лошади небось не чищены? Двор не метен? Половики — когда сказано было выколотить? Только лясы точить умеете да зубы скалить! По тюрьме соскучились?

Публика шарахнулась в разные стороны, и грозная барыня принялась совать свой нос по кастрюлям, как говорил повар, страшно не любивший этого обстоятельства.

— Ну, зачим свой нос везде сунуть? Что найдошь там, чиво нэ потерял? Це, це, це! Какой шальной бариня!—думал высокий горбоносый грузин, неодобрительно покачивая головой и с молниеносной быстротой принимаясь рубить котлеты двумя длинными ножами.

Снег перестал.

Над головой, по жемчужно-серому фону весело неслись темные, разорванные клочья облаков.

Генерал, выйдя на крыльцо, откинул бобровый воротник шинели, лихо, по-забайкальски заломил на затылок высокую белую папаху с желтым в позументе верхом и огляделся.

Часовые—один у двери, другой у денежной каменной будки, шагах в десяти от дома — вытянулись в струнку и взяли на караул.

Рассеянно козырнув им, генерал обежал взглядом, стоящую через небольшую площадь деревянную, всю в кружевной резьбе церковь и видневшийся из-за нее длинный музей со скелетом кита на деревянных подпорках вдоль всего здания.

Напротив, через улицу, над спуском в Малую Александровку чернела почтовая контора с двумя высокими под'ездами; рядом— единственное в посту Александровском двух-этажное здание окружного управления, затем квартира землемера и казенный магазин, так называемый «Колонизационный Фонд», за которым шла линия чиновничьих квартир,— одноэтажных, в 3—4 окна домиков.

Вдали над ними снежной пеленой белели террасы сопок с раскиданными хатками поселенцев и точно края чаши вздымались лесистые хребты—«Пиненчи» и «Камышевый». Обежав горизонт, линия хребтов смелым взмахом мыса «Жонкиер» погружалась в море, отбросив от себя в воду три голых остроконечных скалы «Три Брата». На свинцовом фоне Татарского пролива белелась длинная линия пристани. Через перелески, в ложбине, к ней тонким штрихом намечалась дорога.

Не останавливаясь на всей этой давно знакомой картине, генерал завернул за угол своего дома и медленно зашагал по деревянным мосткам. Сбоку тянулась аллея маленьких, тощих березок в причудливом снежном уборе.

Утренний разговор не выходил у него из памяти. Редкие пешеходы из ссыльных низко кланялись всесильному владыке острова, сходя в снег с узких мостков, но генерал не замечал их.

— Ну, и змея же моя Авдотья! — досадливо думал он, — и прямо Макиавелли какой-то. А чорт его знает, может быть, права она... Надо во всяком случае дело о теленке покончить, а Сергею Николаевичу намекнуть, чтобы с политиками был поосторожнее. Из рамок предписаний не выходить, и конец! Что за послабления в самом-то деле? С цареубийцами, бунтарями — церемонии разводит... Молод еще! Ну, да ничего, упрыгается.

В большой комнате канцелярии губернатора было людно и весело.

Сидя на столе с разбросанными ворохами бумаг, Володя Губанов оживленно рассказывал подробности вчерашней холостой попойки.

Он был племянником начальника тюрьмы и кроме того его помощником,—теплое место, связанное с тюремным хозяйством на несколько тысяч человек.

Ясно, что в смехе и шутках окружавшей его мелкотни проскальзывала нотка подобострастия.

Длинный, порывистый, смуглый как цыган, с испитым лицом и бельмом на одном глазу, он производил впечатление от'явленного арестанта, переодетого в мундир чиновника тюремного ведомства.

— Только брови сбрить—и прямо 20 лет каторги!—подшучивали над ним товарищи-собутыльники.

— Фундамент мы заложили у Маметки основательный, — говорил Володя, болтая ногами и перекатывая папиросу из одного угла рта в другой.

— И закатились на Рельсовую, натурально, к расстриге. Там у него танц-класс ведь.

— Ха, ха, ха!—разразились слушатели:—И верно, что танц-класс.

— Да вы чего смеетесь? Он ведь докладной запиской официально просил открыть танц-класс. Еще написал: для обучения детей ссыльных хореографическому искусству в целях смягчения нравов... Разрешили... Все же будет где развлечься, а то Маметка, да Маметка; и грязновато, и тесно, и скучно.

— Да и приходимые крошки — мордовороты какие-то... Никакого выбора, —лениво вставил полицеймейстер Ипатов, хлыщеватый брюнет, с подвитыми усами и томным взглядом, лев местного общества и беспощадный пожиратель женских сердец.

— Вот на этом-то расстрига и побил рекорд. Танц-класс! Понимаете? Большой зал и человек 12—15 девиц, и всегда разные. А кругом цветы, тюлевые занавески, пианино, люстра... И все знаете—того! Ничего этакого, экзотического, не допускается, для этого имеются кабинеты. Днем — танц-класс; учитель там ходит какой-то из червонных валетов, а вечером — бал, так сказать, практические занятия. Ха, ха, ха!

— Хо, хо, хо!—подхватила публика.

— Ну ловкач поп-расстрига! За что это попал-то он в наши палестины?

— Как за что? разве не знаешь? Дьякона в квашне с тестом утопил.

— Да ну! не может быть!

— И очень даже может. Поп-то художник был большой и раньше по части разных этаких афер; вот, дьякон-то и донеси. Попа расстригли. Он затаил месть и стал следить за дьяконом. Застал его как-то одного пьяного в хате, — было после праздника дело,— да и утопил в квашне с тестом. Квашня-то была большая, на 10 человек работников дьяконица хлеб ставила. Вот он сунул туда головой пьяного дьякона и попридержал за ноги. Тот и задохся. Долго думали, что дьякон сам ввалился, а потом как-то дело наружу выплыло, вот попа и закатали, кажется, лет на 20.

— Скоро же он из тюрьмы выбрался! Ведь, кажется, в прошлом году приехал-то?

— Вообще, парень талантливый! Да и, как видите, полезный член общества, нравы смягчает наши.

Публика шумно захохотала.

— Ты, Карпыч, опиши все это в стихах! Целая поэма выйдет, на манер, «Горе от ума» — Баркова.

Писарь из уголовных, тюремный поэт со злым и скабрезным языком, снисходительно улыбнулся, не переставая строчить какую-то бумагу.

Его лицо, с неимоверно горбатым носом и пронзительными круглыми глазами лишь на секунду показалось из-за груды лежащих на столе дел и снова спряталось.

Если бы знали все эти чиновники, какими красками уже описаны они были в его ядовитых эпиграммах, и как хохотала тюрьма, когда Карпыч, под веселую руку, читал там свои произведения!

Через комнату скорым шагом прошел курьер с портфелем в руках. — Губернатор! — бросил он на ходу, и компания рассеялась, как по волшебству. В передней послышалось шарканье высоких кожаных галош, тяжелая одышка и отрывистое приказание:

— Правителя канцелярии... ко мне!

Плотный, высокого роста блондин, лет под сорок, с отчетливым нездорово-бледным лицом и странными, какими-то стоячими глазами, быстро шагал по своему служебному кабинету и, размахивая руками, бормотал что-то сам с собою.

— Нет, положительно, я не ошибаюсь!... Конечно, это—так! Да вот посмотрим.

Он остановился среди комнаты и многозначительно поднял палец кверху.

— Только надо быстро, а то сходство исчезнет.

Он на цыпочках подкрался к письменному столу из богатейшего березового наплыва с синим сукном.

Кроме бронзовой чернильницы и кожаного портфеля на нем абсолютно ничего не было.

— Ну, теперь посмотрим. Уж я добьюсь своего и докажу, не будь я Малыгин!

— Ваше высокородие, так что их пр-во требуют! — доложил курьер, — попросту говоря, одетый в серый бушлат каторжанин из вольной команды, состоявший на вакансии курьера.

— Меня? Скажи — сейчас приду.

— Что душа женщины и душа кошки — одно и то-же, это я давно заметил, когда еще жена была здесь, — самодовольно подмигивая, заговорил он, когда курьер вышел. — Интересно доказать! Убедиться воочию! И я этого достигну... Для этого нужно только уметь рисовать и... и знать один секретец... Это уже мое открытие! Мое! Я еще докажу... Малыгин еще прогремит... Ну-ка!

БИБЛИОТЕКА ... ИНСТИТУТА КРАСНОЙ ПРОФЕССУРЫ

Он осторожно открыл ящик стола и вынул какой-то большого формата твердый пакет, завернутый в кусок красной материи и плотно стянутый бечевкой.

— На этот раз опыт должен быть удачным. Красный цвет не пропускает не только химических, но и психических лучей.

Осторожно распутал он веревки, затем быстро сорвал покрышку и, открыв два рисунка, жадно наклонился над ними.

На одном была изображена голова женщины, уехавшей для клинического лечения жены, а на другой—голова кошки. Сложены они были вместе лицом к лицу.

— Положительно промелькнуло что-то общее в выражении, глаз... Вот-вот исчезают контуры кошачьих ушей на голове жены, а на кошке чуть заметны следы подвитых волос на лбу... Исчезло... Попробую еще раз проделать этот опыт при красном свете... Но как фиксировать? Как?

Он ударил себя по лбу и задумался.

— Впрочем, торопиться нечего. Только бы не выдать себя... А то перехватят открытие. Выдержка нужна! Как-будто ничего не знаю. А эти-то тупорылые и не подозревают, кто перед ними. А губернатор-то!? Ха-ха-ха! Вот еще идиот, солдафон из палочной академии... Нача-альник острова! А без меня ни на шаг! Ну, пойду к нему. Что там еще стряслось..? Только-бы вида не показать!

Он убрал рисунки в стол, пригладил вз'ерошенные волосы и, взяв портфель с докладами, вышел.

— Здравствуйте, Михаил Петрович. Садитесь. Я вот что хотел узнать...—проговорил губернатор, подавая два пальца правителю и указывая на кресло. — В каком положении дело с жалобой моей Евдокии Петровны насчет теленка этого дурацкого, помните? Дайте-ка его сюда.

— Вы позволите?—Малыгин надавил кнопку звонка.

— Сходи за Ипатовым, полицеймейстером; знаешь? — приказал он вошедшему курьеру.

— Они здесь,—доложил тот.

— Ну, так проси, да пусть захватит дела к сессии мирового суда.

Через минуту в кабинет вошел полицеймейстер, таща с собою об'емистую папку.

После кратких об'яснений, он извлек из нее синюю обложку с надписью:—«Дело о проглочении теленком стекла во дворе отца благочинного»—и с поклоном подал его губернатору.

Тот оседлал нос очками и принялся его просматривать, далеко отставив от себя и недовольно фыркая.

— Ну-с! надоела мне вся эта история; одни праздные разговоры возбуждает и больше ничего.

— До приезда сессии вряд ли что можно будет сделать. Только у нее можно просить о прекращении... Делу дан законный ход...

Протокол... Вскрытие... Занесено в книги — вкрадчиво пояснял Ипатов, играя глазами и слегка грассируя: — Конечно, если ваше пр-во изволите дать формальное приказание...

— А и хитрая же ты бестия! — подумал губернатор, сдвигая очки на лоб и глядя на полицеймейстера прищуренными глазами.

— Ну там делайте, как хотите, а мнение свое я высказал: дело это мне надоело. Поняли? А формальных приказаний отдавать по каждому пустяку частного характера незачем. Здесь управление начальника острова, а не камера какого-нибудь, мирошки.

— Эге! — думал, выходя, полицеймейстер. — Намек довольно прозрачный. Значит, утеря дела о проглочении теленком стекла доставила бы вашему пр-ву изрядное удовольствие? Запомним-с! Только уж к новому году ты меня к ордену представишь, старый селадон, а иначе дело-то может и вновь отыскаться.

— Ну-с, Михаил Петрович! Что у нас на сегодня? Телеграммка какая-то, я слышал, получена? Политических везут? Вот не было печали! вздохнул генерал, постукивая по столу пальцами.

— Действительно, ваше пр-во, телеграмма получена именно об этом. Вот она.

Правитель раскрыл портфель и достал синий листок.

— Сосновский какой-то, с невестой даже... Солодовников,— бормотал губернатор, пробегая телеграмму! — Курсистка какая-нибудь стриженая... И секретное предписание? Гм! Очевидно, хороших дел натворили молодчики. И чего еще бабье сюда с ними лезет? Невеста!?

Генерал досадливо фыркнул.

— Как кошка влюбится в головореза этакого и хоть в прорубь за ним! Вот народец!

При слове «кошка» Малыгин подозрительно уставился на губернатора, но тот уже забыл сказанное и сосредоточенно писал резолюцию на углу телеграммы.

— Так вот — кладя перо, закончил генерал: — Позаботьтесь, Михаил Петрович, чтобы резолюция моя была исполнена в точности. Во-первых, начальнику тюрьмы: поместить в кандальную. Секретное предписание донести мне. Во-вторых, полицеймейстеру: за барышней последить. Есть там у вас еще что-нибудь? Текущее? Ну, давайте.

Административная машина заработала. Начался «трудовой» день.

Почти против канцелярии губернатора, на другой стороне главной улицы стоял веселый беленький домик, с шестигранным стеклянным под'ездом и большой крытой верандой, выходившей в сад, опрятный и тенистый.

В ряду других казенных домов, построенных по одному типу на две смежных квартиры, домов, имевших вид суровый и неуютный со своими голыми бревенчатыми стенами, белый домик выглядел весело и нарядно.

Жил в нем начальник Александровского округа Сергей Николаевич Турский.

Только-что вернувшись из своего управления, он сидел за столом против жены, прищурив один глаз и рассматривал на свет стакан подогретого лафита.

Лакей, конечно, из каторжан, в сером бушлате, но без обычных черных тузов на спине, и белых нитяных перчатках, убирал блюдо с остатками ростбифа.

— Видишь ли, дорогая моя, — лениво говорил Турский, отпив глоток вина и вытирая усы кончиком салфетки.—В сущности говоря, ты ведь совсем не знаешь этой девушки и губернатор отчасти был прав, когда сегодня намекнул мне, что излишнее покровительство невесте политического преступника может быть истолковано, как афиширование моих симпатий к врагам государя, которому я служу.

Маленького роста, лет сорока, полный, розовый, с наивными круглыми глазами, Сергей Николаевич был по душе человеком очень рыхлым и расплывчатым, но брезгливо относился ко всему, что носило характер скандала; и эта именно чисто барская черта иногда заставляла его отступаться от самых добрых намерений, или пасовать перед заведомо злым и несправедливым поступком.

Зная своевольный, взбалмошный характер Елены Александровны, он с некоторым опасением смотрел теперь на нее, ожидая вспышки, и не без основания.

— Вот еще! Буду я считаться с какими то намеками! — вскричала эта хорошенькая, лет тридцати, женщина, с презрительной гримаской выставляя свои белые зубки. — И все-то вы там хороши! Покровительство? Враги государя? Подумаешь! А скажи намилость, зачем это вы тогда на службу их приглашаете, врагов-то? А? Нет, подожди! Не говорил ты разве, что это единственные здесь порядочные люди, которым можно доверить серьезное дело, отчеты там какие-то, я уж не знаю что? А? Это как называется? Покровительство по вашему? А по моему это — пользованье чужими услугами! Разве ты не говорил, что губернатор сам сообразил, наконец, что честных чиновников на такие места и за 300 рублей не найдешь, а политическим вы платите по 10 рублей? Это тоже покровительство? Что же чепуху-то городите? Ну отвечай! Молчи, когда я говорю! И почему это, позвольте спросить, вы со своим губернатором решили, что я обязана подчиняться вашим приказаниям? Что—я, ссыльно-каторжная? Я — человек свободный, и барышня эта — тоже! Хочу ее поместить у себя и помещу, и никакому губернатору до этого нет дела. Поняли? Ишь, умники какие! То у них — единственные честные люди, то враги государя. Да ты вдумайся только, — что вы говорите! Она постучала пальцем по лбу и насмешливо, по слогам протянула: — един-ствен-ные чест-ные лю-ди есть враги государя! Ха-ха-ха! Это мило! Ха-ха-ха! Нет, это—бесподобно!

Откинувшись в кресле, она заливалась веселым смехом до того, что на щеках ее появились ямочки, а крупные жемчужины в розовых ушах прыгали, отсвечивая разными огнями.

Сергей Николаевич сконфуженно потирал маленькую остроконечную бородку «Буланжэ», блуждая по потолку своими круглыми светло-серыми глазками; но затем, сообразив что-то, начал докторальным тоном:

— Ты судишь слишком поверхностно, Леночка. Так нельзя, голубка! Честные... честные... Конечно! Но ведь понятия о честности бывают разные, и предметы этих понятий тоже разные. Мне, например, всякое казнокрадство, фальшь, подлог и т. п. — просто претят. Я так воспитан, и это в крови, так сказать... Просто противно, как противно в салфетку высморкаться за столом или платок из чужого кармана вытащить. Это—уж навсегда... Это—стихийное, так сказать, чувство, прочное, вечное; инстинкт. Никаким влияниям и соображениям оно не поддается. Понимаешь? А этими людьми что руководит? Идеи, как они говорят, высшего порядка? Это—что такое? Это уже—нечто выдуманное, подверженное изменениям, и в свою очередь допускающее измену коренным основам морали, которые у меня прочны, как гранит, потому что они обратились в инстинкт. Понимаешь? Сегодня их высшие идеи не допускают воровства, грабежа, убийства, а завтра допускают. Это у них называется — тактические соображения. Понимаешь теперь разницу? Здесь, на острове, тактические соображения не позволяют им никакого бесчестного поступка, потому что он бесполезен для их идей высшего порядка. Поэтому мы и считаем их людьми вполне надежными и порядочными. Но в душе каждый из них одобрит какое-угодно злодеяние, если оно клонится к ниспровержению существующего строя и государственного порядка. Поэтому они все-таки остаются врагами царя и отечества. Врагами существующего режима — пони-маешь? Я, конечно, нахожу, что этот режим должен быть... э... мягче и... э... во имя его никаких беззаконий твориться не должно, я по-своему борюсь здесь с этим, — но все-таки я не враг, а слуга этого режима. Ведь это же ясно! Понятно теперь?

— Ничего не понятно. Просто вы все дураки. На войне ведь вы убиваете, реквизируете, то-есть, грабите, насилуете, и это считается подвигами. А дома верите в какую-то мифическую казну и сидите тихонями. И нет тут никаких этаких высших инстинктов; боитесь, что по головке не погладят, вот и все. Выходит то-же самое, что и у них. Когда они воюют с вами, то у них все допускается, когда нет, то—нет. Все вы, мужчины, одним миром мазаны. Дураки и больше ничего. И, пожалуйста, без разговоров! Как только «Ярославль» на рейд,—сейчас же еду и привожу барышню прямо к себе. А губернатору скажи, что я ему по лысине нахлопаю. Пусть-ка еще сюда явится! Разные куры мне

строит: — Какие у вас божественные ямочки, Елена Александровна! Можно потрогать?—Ишь, старый хрен! По бороде—апостол, а по делам—кобель пестрый, как говорит няня.

Сергей Николаевич допил вино, махнул рукой и встал из-за стола.

— Ну, делай, как знаешь. Конечно, она человек свободный и под подозрением не состоит... Может быть, даже очень милая барышня... Лично я ничего не имею против и даже рад, что в доме музыка будет. А то рояль стоит, а никто не играет. Как соберемся,—у меня карты, а у вас сплетни. Да и человек свежий, из Петербурга. А то мы здесь мохом обрастем, кажется, скоро. Ну, мир!

Сергей Николаевич галантно поцеловал ручку жены и отправился в свой кабинет всхрапнуть часок после обеда.

Как женщина энергичная и настойчивая, да еще в данном случае задетая за живое, Елена Александровна сейчас же принялась приводить в исполнение свой план.

Покусывая кончик носового платка, она ходила некоторое время взад и вперед по столовой, большой, в три окна комнате с видом на сад; потом потянулась к висевшей над обеденным столом богатой фарфоровой лампе с болтавшимся над ней электрическим звонком в виде жолудя и позвонила.

В дверях появился вестовой в форме тюремного надзирателя, с кобурой на синих шнурках у пояса.

— Кузне-цо-ов! Распорядитесь сейчас же поставить кровать и зеркальный шкаф в маленькую комнату рядом с детской, а также кушетку, кресло и умывальник. Да помогите сами, чтобы не разбили зеркала. Няня покажет, откуда взять все это. Позовите ее! Она где?

— Так что в детской, должно быть, барыня; Костеньку гулять собирают.

— Ну хорошо. Я сама пройду туда. Ну что же вы стоите, Кузнецов? Скорее же, скорее несите вещи... Ах, какой неповоротливый! Да зажгите лампу; здесь и в гостиной; а то темно, как в погребе. Опять стали? Ну что же вы? Ах, Кузнецов, Кузнецов!

Вестовой метнулся сначала к двери, потом к столу и, пошарив у себя по карманам, беспомощно развел руками.

— Так что, спичек нет, барыня... и потом... которое вперед прикажете? Татьяну Васильевну, лампу, или кровать со шкафом?

Его давно небритое солдатское лицо сконфуженно улыбалось.

— Ах, боже мой! Он меня уморить хочет! Что такое: «которое вперед?» Няня, няня! Татьяна Васильевна!

Средних лет женщина, в пальто и вязаном платке, некрасивая лицом, но с серьезным, вдумчивым взглядом и полными достоинства манерами, неторопливо вошла в столовую, ведя за руку закутанного мальчугана лет шести, шаловливого и краснощекого.

— Зажигайте лампы, Кузнецов; спички там, на камине. Потом погуляйте с Костенькой; только недолго, по мосткам... Татьяна Васильевна, пойдемте, вы мне нужны.

Мальчуган с визгом начал вешаться на вестового, мешая тому зажигать лампу, а Елена Александровна поспешно повела няню в дальние комнаты.

С помощью повара, кучера и садовника, после тысячи противоречащих друг другу приказаний, ненужной суеты и восклицаний, все было, наконец, приведено в порядок, и запыхавшаяся Елена Александровна бросилась на кушетку.

Сгоравшая от любопытства Татьяна Васильевна только что собралась приступить к расспросам, как раздался звонок, и в передней послышались оживленные голоса.

— А мы, душечка, к вам на огонек!—затрещала, целуясь с хозяйкой, маленькая, почти карлица, худощавая брюнетка с длинной талией и неимоверно высокой прической.

Ах, как ненавидела она свой маленький рост и к каким героическим мерам прибегала, чтобы скрасить его!

Трехвершковые каблуки мешали ей ходить, а высокая прическа еще больше подчеркивала несоразмерность длинного туловища с короткими ножками.

Следом за нею, игриво поводя глазами и поглаживая кончиками пальцев богатые кольца длинных черных усов с под'усниками, выступал почти такой же маленький супруг ее — помощник начальника округа Янцевич.

Немедленно завладев ручкой хозяйки, он звонко щелкнул высокими, как у жены, каблуками гвардейских сапог и, картинно изогнувшись, поднес ее к своим холеным усам.

— Когда-б вы знали, как я пылаю! — продекламировал он вполголоса, вызвав ревниво-бешеный взгляд жены и веселый смех хозяйки.

— Шут!—прервала она, шаловливо хлопнув его по прическе.

Из передней между тем прибывали новые гости.

Впереди, величественно кивая головой, шла худая, черноволосая женщина купеческой складки, вся в шелках, золотых цепочках и брильянтах, жена управляющего Дуйскими каменноугольными рудниками, Анна Ивановна Мотаева.

— Здравствуйте, здравствуйте, Елена Александровна! Здравствуйте, дорогая! — владимирским говорком на-распев заговорила она. — Приехали-этта мы с Клашенькой из Дуйки проветриться. Зашли к Серебрянским, Ольгу Ивановну проведать, а там гости. Посидели часок-другой, да и к вам с ними вместе... Чай принимаете? Клашенька! Где же ты, Клашенька? Иди — поздоровкайся!

Дородная, белокурая девица, лет двадцати, пестро и богато одетая, конфузливо опустив глаза, сделала реверанс и немедленно

покраснела до корня волос, при чем протянутая рука хозяйки так и осталась висеть в воздухе.

— Она у нас так приучóна, чтобы без руки... по заграничному. У нас, в Ницце, так завсегда принято: дети старшим руки не подают, а только издали приседают, или там шаркают, какого пола смотря,—самодовольно поясняла Анна Ивановна.

С тех пор, как она с благоверным своим, Семеном Алексеевичем, провела сезон в Ницце, с языка у нее не сходит этот курорт.

— На-ка выкуси! Ницца! Это тебе не Сахалин, — резонно думала Анна Ивановна, победоносно поглядывая кругом.

— А сама Ольга Ивановна что-же? спросила хозяйка, удерживая невольную улыбку и прерывая Янцевича.

Считая своим долгом «осадить зазнавшуюся купчиху», бывший гусар, как он любил называть себя, только что собрался сказать ей какую-то колкость насчет двадцати-летних детей.

— А мама опять расхворалась, лежит, — проговорила красивая, стройная, лет восемнадцати девушка — красивая необычной и подчеркнутой красотой. Ничего неправильного и непропорционального в чертах ее лица не было, и все же каждый, при самом беглом взгляде на нее, сказал бы: «местная красавица».

Цветущее-ли здоровье, горячая ли кровь или серьезные серые многовидевшие глаза, — но все в ней как-то кричало о местном колорите. Вплоть до движений — мило-угловатых и плавных, подчиненных сильной воле.

— А-а! «Сибирская роза»! И вы здесь? Здравствуйте, моя прелесть! — обрадовалась хозяйка.

— Как же, как же! — вмешалась опять Анна Ивановна. — Уж моя Клашенька и уходить не хотела без Сашеньки...

— Вот как! — с любезным сочувствием протянула хозяйка.

— А что же с мамой? Опять припадок этой противной круглой язвы? — вновь повернулась она к девушке.

— Ну зачем такие страсти? Язва, да еще и круглая! Гы-гы-гы! Просто катаррец, пожалуй, скорее острожный. Гы-гы-гы! Здравствуйте, голубушка моя, — хватая хозяйку сзади за локти с приглушенным, деланным смехом заговорил средних лет господин в статском костюме и темных очках, показывая черные гнилые зубы.

— Леонид Петрович! Фу, противный, испугал как! А еще заведующий медицинской частью! Разве можно так пугать нервную женщину?—смеялась Елена Александровна, освобождая свои локти и опускаясь на кресло. — А вдруг бы истерика?

— Мне можно! Я — доктор Подгорский. Гы-гы-гы! Какую хотите истерику сейчас же вылечу. Нет, серьезно. Знаете... — громким шопотом болтал тот, наклоняясь над креслом: — Нужно только моментально и сильно прижать паховые железы и... Гы-гы-гы!

«Сибирская роза» досадливо вспыхнула и встала с дивана, вырвав у хозяйки свою руку, которую та рассеянно поглаживала.

— Вот вам, неисправимый повеса! — с притворным гневом шлепнула его по руке веером Елена Александровна: — Ну, зачем спугнули теперь мою «сибирскую розу»?

— Что у вас тут за драка? Я, как блюститель общественной тишины и порядка, обязан вмешаться! — проговорил полицеймейстер Ипатов, подходя к хозяйке и с вычитанным где-то поклоном маркиза целуя у нее руку.

— Да не я, вовсе, спугнул, а ее собственная непривычка к медицинской терминологии! Зову ее с собой в Питер на медицинские курсы,—не хочет. А я бы поехал. Не мешало бы, знаете, освежить старину. Ей-богу, послушал бы с годик лекции в академии, а то здесь все перезабыл со своей канцелярщиной.

— Знаем мы, что̀ вам, добрейший, освежить понадобилось!— подмигнул полицеймейстер, покручивая усы и бросая томный взгляд на подсевшую к Мотаевой девушку. — Губа-то у вас не дура, дорогой мой. Да и так, кое-о-чем слыхали мы; недаром обязанности мои предписывают все видеть и все слышать! Вы как насчет этого думаете, божественная?

— Думаю, что скоро у Александры Петровны будет подруга, а у вас, господа, новая причина, чтобы ревновать друг друга и обмениваться шпильками.

— Что? Как? Разве ждете кого-нибудь? Сестру? — посыпались со всех сторон вопросы.

Знавший в чем дело Ипатов многозначительно улыбнулся, обменявшись взглядами с Янцевичем, но дамы и доктор навострили уши.

Слегка возбужденная общим вниманием, хозяйка начала рассказывать о телеграмме от командира «Ярославля», о споре с мужем и о своем решении.

В это время опять раздался звонок, и в дверях показался белобрысый, неопределенных лет, высокий врач местной команды, Зацепский.

Потирая озябшие красные руки, он поздоровался с хозяйкой и, уставив в нее бесцветные водянистые глаза, спросил с неумелой игривостью.

— О чем шумите вы, народные витии? А где же ваш повелитель? Почивает еще? Вредно-с! Вредно-с! Особенно, когда все партнеры в сборе, и мне еще требуется отыграться после вчерашнего.

— Да ну вас, Василий Яковлевич, с вашими картами!— зашумели дамы. — Тут такие интересные новости... целый роман, а он с глупостями пристает.

— Роман? Что такое? Успокойтесь, медам; я — весь внимание! — отшучивался доктор, подсаживаясь к коллеге.

В перебивку, наскоро ему сообщили в чем дело, и хозяйка могла, наконец, закруглить свое повествование томным вздохом

и шутливым замечанием, не без некоторой однако меланхоличности.

— Вот так-то мы женщины, и только мы, а не вы, господа гадкие мужчины, умеем всем жертвовать для любимого человека!

— Позвольте с вами не согласиться, мамочка... — заявил из своего угла доктор Подгорский, успевший незаметно пробраться поближе к Сибирской Розе и потешавший ее и Мотаеву с дочкой своими комментариями к рассказу хозяйки. — Позвольте с вами не согласиться, очаровательная. Где есть любовь, там нет жертвы. Где есть любовь, там все, что при других обстоятельствах считалось бы жертвой, превращается в удовольствие, в наслаждение. Это, мамочка, психологическая истина-с! Не лишенная патологического оттенка, но истина. «Любовный трепет — род недуга». — Помните? Гы-гы-гы.

— Ну, уж вы, Леонид Петрович, всюду приплетаете свою медицину и из самого чистого, святого движения души любящей девушки готовы создать патологическое явление, близкое чуть-ли не к садизму, — вступился появившийся из кабинета хозяин, выспавшийся, розовый и еще пахнувший одеколоном после умыванья.

Поднялся общий спор — шумный, длинный, безрезультатный и безалаберный. Спор людей, обреченных на унылую скуку захолустий и проклятых мест; спор, в котором—кто во что горазд.

Все говорили, и никто не хотел слушать.

— Это все родители виноваты!—негодовала Анна Ивановна, ни к кому особенно не обращаясь и потрясая богатой кружевной наколкой на голове.—Ни за что не отпустила бы мою Клашеньку! Куда? За кем? За изменником, за преступником? Ни за что! Хороши родители, нечего сказать! Да Клашенька и сама не поехала бы... Не так воспитана... Верно ведь, Клашенька?

— Нет, дорогая Анна Ивановна, это вы напрасно, — обернулась к ней хозяйка. — Родители ее очень почтенные люди, нашей морской семьи. Я, ведь, вы знаете, урожденная Обедникова, дочь известного всему Кронштадту капитана 1-го ранга, а ее отец морской инженер-механик, на многих судах больше 20 лет плавал; и мой батюшка знавал его, и командир Остолопов его близким приятелем был. Чуть не пол-Кронштадта у него крестников. Открыто жил человек. Вполне достойная и уважаемая семья!

— Но тогда в чем же дело? Как могло случиться, что среди членов такой семьи могли зародиться симпатии к человеку с таким... таким направлением против царя и всякого порядка?

Спор возобновился с новым ожесточением.

— Старая история,—ораторствовал хозяин.—Тургеневские «отцы и дети» на современной подоплеке политических разногласий.

— А по-моему, никакой подоплеки тут нет, и «отцы и дети» не при чем; а просто любовный угар своевольной, привыкшей

к самостоятельности девушки,—возражал Зацепский. — Поживет здесь, повертится, увидит, что не так сладко, как думала, и уедет, как приехала.

— Вот чисто мужское, эгоистическое рассуждение! — горячилась Елена Александровна. — Сердце, вообще, не рассуждает; сердце любит беззаветно, особенно сердце девушки. Это у вас вместо сердца циркуляры какие-то в груди образовались...

— Позвольте, позвольте, голубушка моя! — вступился за коллегу Подгорский. — Сердце есть полый мускул, разделенный перегородками на четыре камеры и регулирующий кровообращение. Ни у нас рассуждать, ни у вас любить оно не может. Оно только реагирует на...

— Долой медицину!—поддержал полицеймейстер. — В анатомическом покое сердце регулирует кровь и есть пустой мускул, а в обществе хорошеньких женщин оно любит, страдает и... мечтает!

Он метнул пламенный взгляд на хозяйку и закатил глаза к потолку.

— Нет, погоди! Ты почему это мне ничего не сказал? А? Ведь знал про телеграмму? Знал? Сознавайся! — шипела в другом углу «помощница» своему супругу, держа его за рукав. — Шуры-муры завести рассчитываешь, должно быть? Ну, погоди; я с тобой разделаюсь!

— Да откуда ты взяла? Да бог с тобой! Да я и в глаза-то ее никогда не видал! Какие шуры-муры? — оправдывался несчастный «гусар». — Да и, наконец, услышать могут... Что ты?! Оставь меня в покое!

— Нет, не оставлю! Пускай слышат... Пускай!

Одна «сибирская роза» не принимала участия в общем споре и гвалте.

Сложив руки на коленях, она тихонько сидела в глубоком кресле, задумчиво смотря на причудливую игру теней на потолке.

— Непременно познакомлюсь с ней. Должно быть, чудная девушка! — думалось ей, и вспоминалась политическая тюрьма в Горном Зерентуе, возле Нерчинска, где отец ее служил начальником до перевода на ту же должность в пост Александровский. Там она выросла среди людей, которых здесь называли изменниками и преступниками, но о которых у нее лично остались только самые теплые, самые светлые воспоминания и груда карточек с трогательными, хорошими надписями.

Споры затихли. Мужчины ушли играть в карты. Дамы подсели на диван к столику, заставленному сластями вокруг ликерного прибора, и занялись серьезным разговором о нарядах.

Неизменный Подгорский сидел тут же, потягивая шартрез и поглядывая исподлобья на мечтавшую «сибирскую розу».

— И что значит вкус! — со вздохом сознавалась Анна Ивановна. — Нет во мне энтого. И муж, Семен Алексеевич, говорит, что нет! Вот платьице у Сашеньки,—кивнула она в сторону задумавшейся девушки. — Простенькое, дешевенькое; потому, куда же им до наших капиталов; а сидит как! Прямо картинка... А у моей-то Клашеньки: и материя самая дорогая, и отделка из кружев настоящих валансьен, а все не то! Не хватает вот чего-то!

«Сибирская роза» не слышала этих излияний и мечтательно смотрела в пустоту.

Бронзовые и фарфоровые лампы с претензией на изящество, дававшие мягкий свет из-под широких шелковых дорогих абажуров, и масса зелени помогали подчас забыть про мрачность и уныние дикого, отрезанного отовсюду острова.

Щеголеватые новые обои, картины на стенах и тяжелой массой черневшее пианино дополняли наивозможный уют.

ГЛАВА III.

Туман, наконец, рассеялся. Призрачно-нежные нити его кое-где еще реяли над спокойной поверхностью Татарского пролива. Тихо волнуясь, направлялись они к цепи гор, покрытых снежным убором, и беловатыми клочьями застревали на прибрежных утесах.

Потянул предрассветный ветер, и, как бы вздрагивая от холода, морщинистыми пятнами подернулись спокойные, гладкие воды. Из бледных и легких тонов окрасились в тяжело-свинцовые.

Пароход «Ярославль» стоял на рейде. Это было 6 мая 1894 года. Более 800 каторжан привез он на Сахалин.

Более 800 отверженных, отправленных за грань того общества, которое их создало, в последний приют, самый далекий, какой только могло дать им государство.

Человек 200 малосрочных ссадили на южном Сахалине, в посту Кирсановском.

Там климат мягче; ведь на 600 верст южнее поста Александровского, а это не шутка; к тому же, и теплое течение благодатного Куро-Сиво боковыми струями достигало Анивского залива, где помещался южный центр Сахалинского управления, пост Корсаковский.

Каменноугольных копей там не было, и каторжные работы ограничивались рубкой леса, проведением дорог и, вообще, из сферы внутреннего хозяйства не выходили.

Всей этой благодати большесрочные не заслуживали. «Слишком жирно; да и убегут, подлецы!» — Ведь Япония была очень недалеко от поста Корсаковского; при попутном ветре до берегов Иессо можно было добраться в несколько часов.

Малосрочным же, осужденным на 3—5 лет, бежать никакого расчета не было. Их и так отпускали на вольные квартиры сразу же после высадки и много-много, если держали в тюрьме 2—3 месяца, глядя по сроку наказания, собственному усмотрению местного начальства и количеству свободных мест в тюрьме.

Другое дело — осужденные на большие сроки, 10—15—20 лет, и бессрочные. Для их исправления отводились северные округа, Тымовский и Александровский, с холодным климатом, суровой природой и тяжелыми работами.

Если это не делалось с целью возможно более затруднить их исправление, то тогда было непонятно, зачем это делалось. Человек, неопытный в тайнах «пенитенциарной системы», невольно начинал думать, что в таких мерах — самая обыкновенная месть играла более важную роль, чем пресловутое исправление.

Не думая ни о чем подобном, бесправные пассажиры «Ярославля» мирно спали в своих глубоких трюмах, окруженные пустыми внутри железными решетками со множеством отверстий.

В случае бунта, достаточно было только пустить по этим трубам пар под давлением из котлов машинного отделения, чтобы в несколько секунд сварить живьем всех трюмных обитателей.

Если это было тоже мерой для исправления, то эта мера сильно напоминает то анекдотическое средство против плешивости, которое, на куски разрывая голову, навсегда уничтожает лысину.

Впрочем, прибегать к таким героическим средствам никогда не приходилось. После более чем скудной кухни разных централов и пересыльных, попадая на жирный и сытный матросский котел «Ярославля», «исправляемые» менее всего думали о бунте.

Выйдя из европейских вод, командир открыто заявил своим невольным пассажирам: — «Если вы вздумаете бунтовать, я прикажу стрелять по вас картечью вот из этой пушки, но издеваться над вами здесь, на моем корабле, никому не позволю». Кандалы со всех тут же были сняты, бритье пол-головы отменено и разрешены были прогулки по палубе партиями по 1 часу ежедневно с обливанием водой в дни сильного зноя. Во время 45-ти дневного плавания, по крайней мере, 30 дней пути от Суэца до Японских вод, пароход шел в тропическом поясе, и удушливая жара вызывала тяжелые накожные заболевания в виде чирьев, так называемой тропической сыпи, по всему телу и довольно частые случаи тепловых ударов.

Трюмы, буквально набитые людьми, помещенными на нарах в три яруса друг над другом, представляли собою какие-то паровые ванны.

Плохо пришлось бы их бедным обитателям, если бы не ежедневные прогулки на палубе, так как наружный воздух плохо проникал через открытые люки и через специальные полотняные трубы.

Только с приходом в северные воды, вновь можно было дышать полной грудью, не чувствуя постоянного стука в висках и тяжелой, изнуряющей испарины.

Трудный путь кончен. Завтра высадка.

Что-то даст им новое отечество?

Все равно, только бы скорее на место!

Утомленные нервным ожиданием и бесконечными беседами о Сахалине с бывалой бродяжней — люди спали, забывшись тяжелым свинцовым сном.

Нежно-розовым флером подернулось небо на востоке. Над неровно-зубчатой короной горных хребтов прозрачным веером взвились лучи пурпурно-золотистого света, и жидким опалом казался туман над рекой Александровской. Он курился и стлался по земле, как дым на месте пожарища, и сквозь его слоисто-кудрявые волны мерещились группы деревянных домов, маленьких и неприглядных, вырывалась вышка пожарной каланчи и поблескивали кресты тюремной церкви.

Большие черные глаза молоденькой девушки, миниатюрной и хрупкой на вид, задумчиво покоились на этой картине.

Черное шерстяное платье, короткая кофточка с меховой опушкой, черная муфта и белая шапочка-гарибальдийка с вуалью, теперь поднятой.

Бледное, нежное лицо с полудетским овалом и ямочкой на подбородке.

Странно было видеть типичный костюм петербургской курсистки так далеко от родной консерватории, на борту каторжного парохода, у мрачных и угрюмых сахалинских берегов.

Ольге Михайловне Ершовой не спалось.

Сегодня ее Борис, самый дорогой для нее человек, с сердцем которого билось в такт и ее девическое сердечко, — будет отправлен в страшную каторжную тюрьму.

Он, этот самый милый для нее человек,—человек, в отношении которого весь остальной мир представлялся ей придатком и, вообще, чем-то производным, — будет содержаться на Сахалине и не в компании товарищей-политических, дружеская близость которых на много скрасила бы его жизнь, а вместе с уголовными!

И ее двоюродный брат, Сережа Солодовников, товарищ Бориса по гимназии, а затем по Академии, тоже здесь, разобщенный от него, но на том же пароходе.

Они называли себя народоправцами и формировали какие-то боевые дружины. Мечтали дружинами этими покрыть всю Россию и затем поднять восстание.

Сама она мало разбиралась в этом. Как и вся учащаяся молодежь того времени, она стихийно, в массе шла против реакционнейшего из режимов. При случае не отказывалась печатать по ночам на гектографе различные прокламации; прятала на своей,

стоявшей вне подозрений квартире целые пуды литературы и нелегальщины по просьбе знакомых студентов; под видом сестры ходила на свидания с арестованными, но ни к какой революционной партии определенно не примыкала.

Восхищаясь чисто-девически деятельностью знаменитых революционеров и называя ее не иначе, как возвышенной, она еще не осмыслила себе всю суровую необходимость ее.

Она восхищалась этой деятельностью, а самое ее тянуло к искусству. Музыка — и именно русская музыка — казалась ей неисчерпаемой по своим возможностям, по тогдашнему своему героическому периоду, — и она отдавала ей львиную долю своего времени.

И вот она здесь, в стране квалифицированного рабства; в забытом краю, где начальник тюрьмы буквально есть царь и бог над тысячами каторжан; где каждый полупьяный, малограмотный чинодрал может для собственного удовольствия дать 15 розог любому из ссыльных без суда и следствия; у начальника тюрьмы эта прерогатива расширялась до 30-ти, а у губернатора до 50-ти ударов.

И ее Борис ничем не гарантирован от подобного произвола.

И ее самое губернатор может во всякое время без об'яснения причин, как говорится, — в два счета — выслать с острова. Об этом предупреждал ее еще в Петербурге начальник главного тюремного управления, когда пришла она к нему просить разрешения следовать за женихом в ссылку.

Это же все в самых мрачных красках рисовал перед ней командир «Ярославля», старый друг ее отца, Александр Александрович Остолопов, когда-то носивший ее на руках еще маленькой девочкой; то же самое в один голос подтверждали и остальные офицеры парохода, сильно привязавшиеся к своей исключительной пассажирке за полуторамесячное плаванье.

Как же это случилось?

Что заставило ее исковеркать свою жизнь, порвать круг привычных и милых интересов, махнуть рукой на музыкальное призвание и променять положение свободного человека на приниженное положение жены ссыльно-каторжного?

Что заставило? — Ей всегда надоедали с этим вопросом. Да ведь это же так просто и понятно.

Конечно, любовь; и вера в человека, которого она любила; вера в свои собственные силы, уже испытанные в житейской борьбе; наконец, та безоглядность и отвага, которые, вообще, свойственны молодости.

С нею была любовь, вера и молодость.

Чего же еще надо? А люди — везде люди.

Послал же Александр Александрович из Владивостока телеграмму жене начальника округа Турской, тоже дочери моряка.

Вот уже первая точка опоры; из своей же морской семьи! Наверное, как-нибудь все устроится. Авось, и музыка пригодится Одним словом, дальше видно будет.

Она вздохнула и уже сознательно стала всматриваться в детали раскинувшейся перед ней панорамы.

Солнце уже давно взошло, и веселые искры переливались на мелкой зыби морского простора.

Справа, недалеко от парохода из воды торчали три голых, остроконечных утеса «Три Брата».

Они замыкали полукруг, образованный мысом «Жонкиер» и берегом. Смелый изгиб его вершины мощной выпуклой громадой рисовался на фоне бледно-голубого неба.

Беловатая лента дороги выходила из полукруглого зева туннеля под самым куполом мыса и, обогнув изрытую промоинами осыпь высокого берега, узким прямым штрихом исчезала в чахлом лесочке долины.

Белая пена прибоя гналась за ней до самого поворота, высоко взбрасывая в воздух сверкающие на солнце узорные брызги.

Старая, потемневшая пристань на высоких столбах отделялась от берега саженей на 50, сливаясь с этой дорогой. На конце пристани, как бородавка, виднелась сторожевая будка и торчал флагшток.

Виднелись два катера и большие деревянные баржи. Маленькие люди бегали и суетились там; готовились к приему «сплава».

Блестели рельсы для ручных вагонеток и узкой двойной ниточкой уходили в тот же чахлый лесок.

А дальше грудой избушек чернел между пятнами нестаявшего снега пост Александровский.

Неприглядный вид.

— Что призадумалась, Оля?

Девушка невольно вздрогнула и обернулась.

— Ах, это вы, Александр Александрович! Любуюсь вот... новым отечеством,—полу-грустно, полу-насмешливо уронила она, махнув муфточкой по направлению к берегу. — Сегодня ведь высадка!

И она невольно поникла головой.

— Ну что там! Брось черные мысли, детка!

И ласковые, отеческие нотки задрожали в его голосе.

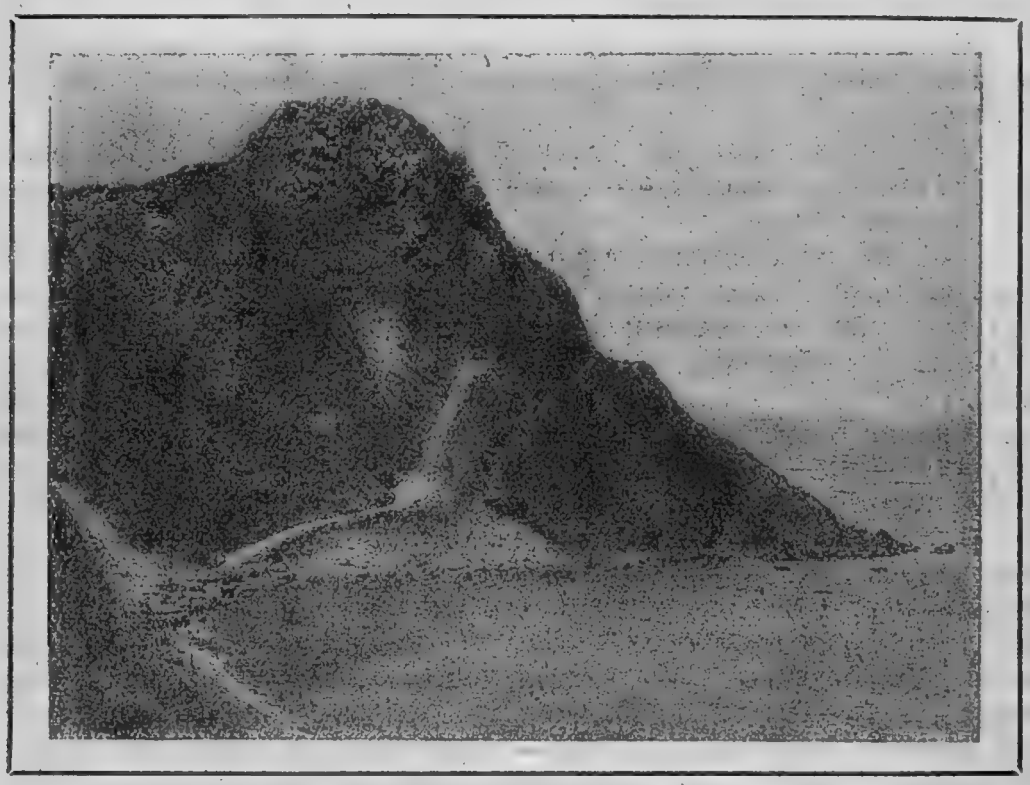
— Скоро вот поеду с визитами. Буду у губернатора, у Турских, еще кое-кого увижу... Да и другие из наших с'едут... У них тоже знакомства есть. Одним словом — не надо дрейфить! Держись круче к ветру! — уже веселым тоном перебил он себя, ласково поднимая опущенную головку девушки.

— Как сумеем — почву тебе подготовим. Да и Бориса твоего я видел... Парень боевой и неглупый. На рифы зря не полезет, но и в обиду себя не даст.

— «Слез довольно, прочь печаль»...—шутливо пропел он слова знакомого романса. — Помнишь, как пел я это в кают-компании, передразнивая певицу, а вы все хохотали?

Девушка невольно улыбнулась.

— Ну вот, так-то лучше! Все равно, сделанного не воротишь. Вы оба здесь и... когда кушанье на столе, надо его есть, как говорят французы. А впрочем... — и он серьезно и вдумчиво заглянул ей в глаза:



Мыс «Жонкиер» у п. Александровского.

— Помнишь наш первый разговор? Еще в Одессе? И мои советы оставить всю эту затею и вернуться к искусству, которое ты бросила ради любви? Ведь еще не поздно. Через три дня «Ярославль» начнет обратный рейс... Ну!...

— Нет, нет, нет! Что вы, Александр Александрович! Никогда! Опустошить свою душу? Оставить здесь самую дорогую ее часть?.. Подумайте сами: на что искусство, когда душа пустая?

Большие, всегда будто печальные глаза ее смотрели негодующе, бледное личико зарделось румянцем, и все существо как-бы выражало одну непреклонную мысль.

— Ну, ну, ершик мой маленький! Уж и колючки выпустил! Ишь, глазища какие! — шутливо отмахивался командир. — Ну,

значит по рукам; еду и хлопочу. А момент сей запомним. Он — переломный пункт в твоей маленькой истории. Отныне ты уже не Оля, а Ольга Михайловна Ершова; ну, в крайнем случае, допустим, не Ершова еще, а Ершик. В скором времени мадам Сосновская! — подшучивал он, стараясь сбить тяжелое настроение своей любимицы. — И сопричислим тебя тогда к лику святых, здесь и по другим местам отдаленным обитающих. У меня ведь свои святцы, ничего общего с церковными не имеющие. Ну баста! Мир теперь! Смотри лучше туда; я познакомлю тебя со столицей, сначала издали. Возьми, на бинокль.

Огромной грязной чашей раскинулась долина стекающей с недалеких хребтов речки Александровки, теперь еще покрытой льдом и снегом.

Налево от пристани, у самого взморья, виднелись два длинных бревенчатых здания — карантин, отделенный от поселка речным устьем.

— Там на неделю, а то дней на десять размещен будет сплав каторжан, пока управление разберется в документах и рассортирует его по тюрьмам: Александровской, Дуйской, Рыковской и Онорской. — Видишь, дальше, за речкой, высокий берег с большим садом и в нем довольно приличный дом под зеленой крышей и с длинной террасой? Это губернаторский дворец. Там живет твой царь и бог!.. — Ну, ну, не буду, не буду! — Там — седобородый «Черномор», сатрап вавилонский, как зовет его местный протопоп. Там я сегодня буду и посигналю тебе с балкона платочком, если хочешь. — Вон там, правее сада, где еще беседочка в углу, видишь—мост? Вот из лесочка, что на ближнем берегу реки, дорога идет через этот мост в пост Александровский. Над мостом, на крутой горке, — двух'этажный хорошенький домик. Там живет начальник тюрьмы Серебрянский, Петр Алексеевич. Говорят, недурной человек. Во всяком случае — спокойный и уравновешенный. В Горном Зерентуе он заведывал политической тюрьмой и там, должно быть, заключенные помогли ему сохранить человеческий облик. А дочка у него, Александра Петровна, — это прямо прелесть: и красавица, и скромная, и с хорошим сердцем; вечная заступница перед отцом в разных проказах его непокорных пансионеров. Ее прозвали «сибирской розой». Вот тебе и подруга. Наверное, по душе придется. Я уже чувствую. Ну теперь дальше. Левее губернаторского дома — церковь пятиглавая, деревянная. Вблизи очень красивая, так как вся — в резных из дерева кружевах. Она уже горела один раз, и местные сатрапы нажили, говорят, на этой постройке и перестройке изрядные денежки. Еще правее церкви — темное, низкое здание: это музей. Туда поселенцы сносят всякие местные диковинки. Вот бы твоего будущего мужа туда пристроить для заведывания! Я поговорю об этом. А вон, в центре, видишь, над полосой домов высится серая

четырех-угольная масса? Это знаменитые «пали», т. е. ограда из вертикальных 3-саженных бревен. Внутри огромный двор, и там расположены казармы каторжной тюрьмы; разряд испытуемых, или кандальных. Рядом пожарная вышка над «вольной тюрьмой». Не правда ли, как странно звучат рядом эти два слова? Это разряд исправляющихся. Они живут на квартирах, если хотят, и приходят только на поверку и за продуктами.—Остальное, что пониже, под горкой — предместье Малая Александровка; его заслоняет от нас этот низенький береговой кряж. Видишь на нем черные точки? Это кладбище. Мимо него течет речка Малая Александровка.—Правее тюремных полей и каланчи лежат еще 2—3 улицы, а дальше, к горам, рассыпаны, как кубики, поселенческие избушки. Местность эту зовут Кавказом. Может быть, потому, что она здесь самая высокая, а, может быть, и потому, что там живут, главным образом, кавказцы. Их ведь очень много в каторге; самый большой процент. — А вот от всего этого пятна домов тонким хвостом, как у ракеты, отделилась серая линия и уходит туда, где горы снижаются. Это—Рельсовая улица. Она идет от базара — его за горой не видно — и тянется через деревню Корсаковку еще 7 верст, вдоль речки, до селения Михайловского, под самыми хребтами Оттуда каторжане возят дрова на вагонетках из горелых лесов. — Вот тебе и вся география столицы. Зубчатые края у этой чаши— горные хребты: тот, что левее—«Камышевый», поправее«—Пиленга»; за ними—Тымовский округ. Там идет дорога в Дербинское, Мало-Тымово, Рыковское. Когда-нибудь побываешь сама везде и все рассмотришь поближе. Еще правее—хребет «Верблюд». Он сворачивает к берегу и заканчивается этим мысом «Жонкиер». Через него переваливает дорога в Дуэ. Там главные каменноугольные копи и старая тюрьма, первая на острове по хронологии. Зовут ее также Воеводской, по имени узкой пади, где она расположена. В подножье «Верблюда» тоже есть рудники, Александровские. Но здесь угля добывается мало. Все идет из Дуйских. Только бы твоего благоверного туда не запечатали. Там тебе делать нечего, а отсюда ездить далеко, 5 или 6 верст. Ну да как нибудь наладится. Да и политические сумеют всегда дать тебе подходящий совет: кому же и знать положение, как не им? Люди интеллигентные, а главное,—тертые калачи. Но о них говорить я не буду. Сама все увидишь и разберешься. К тому же сюда, наверное, скоро явится кто-нибудь из них. Скорее всего, Штернберг или Бражников. Им, как административным и прав нелишенным, это доступнее. К тому же, у Бражникова какие-то шуры-муры с моим младшим механиком. Подозреваю, что тот ему возит из-за границы всякую нелегальщину; но это не мое дело; смотрю сквозь пальцы; каждый по своему с ума сходит! И я в молодости погрешил этим немало... да и теперь симпатизирую, между нами говоря. Очень уж душно, чорт бы их всех побрал — там наверху! Ну, однако,

прощай пока, детка! Мне надо еще припарадиться, да и на берег, с визитами.

Он приветливо помахал рукой и сошел с мостика.

— Ольга Михайловна! Ольга Михайловна! Да где же вы, наконец? Мы все ждем вас в кают-компании пить кофе и скоро умрем от жажды.

Над верхней палубой показалось улыбающееся, загорелое лицо с более светлой остроконечной бородкой и сдвинутая на затылок фуражка лейтенанта Барковского.

— Вот вы где! Здравствуйте, уважаемая! Как почивать изволили?

Он легко вскочил на мостик и галантно расшаркивался, держа наотлет одну руку с фуражкой и прижимая другую к сердцу.

— От лица всей кают-компании прошу не отказать в скорой помощи погибающим. Спасательный бот к вашим услугам!— и он подставил девушке согнутую калачиком руку.

— Да нет... спасибо, Дмитрий Николаевич! Я, право, не знаю... Мне что-то не хочется... — сконфуженно отнекивалась та. — Я лучше посмотрю еще на берег.

— К-а-а-к?—с комическим ужасом всплеснул руками лейтенант, тараща свои веселые серые глазки. — Как? Старый морской волк отказывает в помощи гибнущим в море товарищам? Но такого позора еще не было в летописях русского флота!

— Ай, что вы говорите, Дмитрий Николаевич! — рассмеялась девушка, подавая ему руку. — А еще сама галантность! Ну какой же я волк? Да еще старый? Хотя и правда: я столько пережила за все это время, что стала совсем старая.

— О, нет, уважаемая! Вы еще прекрасно сохранились для своих преклонных лет! — не унимался Барковский, помогая ей спуститься по трапу с мостика. — Но ваш морской стаж, включая сюда плаванье в шхерах с вашим батюшкой, катанья по Неве и настоящий почти кругосветный рейс,—дает вам полное право на почетное звание старого морского волка. Et voilà tout. Инцидент исчерпан.

— Нет, вы представьте себе, господа! — продолжал он паясничать, вводя свою спутницу в столовую при общих приветственных восклицаниях. — Представьте себе, в каком положении нашел я нашу прекрасную пассажирку! Принайтовилась к борту и обстреливает мирные берега поста Александровского ураганным огнем своих двенадцати-дюймовых глаз...

— Ха-ха-ха!—разразились слушатели.

— Вот так комплименты отпускаешь ты, Барковский! Прямо пудов на-сто! Как вы находите, Ольга Михайловна?

— Стойте! Стойте! Я еще не кончил рапорта. Молчи, Паттон, а не то я тебя на дуэль вызову! ... А мы здесь гибнем и чахнем,

и наша пышная трапеза выглядит скудной без блеска этих двух черных молний!

Он широким жестом указал на вспыхнувшие укоризной глаза смущенной девушки.

— Браво, браво, Барковский!—зааплодировала кают-компания.

— Вот это называется поэзия! Ты—трубадур, Барковский! Дайте ему плащ и лютню! Лютни нет? Есть пианино? Все равно. Бери пианино, Барковский, становись на одно колено и пой! — хохотали окружившие их офицеры.

— Плюньте вы, матушка, на этих сумасшедших!—вмешался старый офицер, вытирая покрасневшие от смеха глаза и усаживая девушку на почетное место рядом с командирским креслом. — Давайте-ка лучше завтракать. Чай, кофе, ветчина, масло, сыр, печенье... чего прикажете?

Офицеры быстро заняли свои места и наперерыв угощали общую любимицу.

— А после завтрака вы сыграете нам на прощанье что-нибудь из Шопена, Ольга Михайловна?—серьезным тоном сказал сидевший рядом с ней первый помощник Паттон, стройный, слегка увядший брюнет с черными, печальными глазами. — Знаете, мой любимый ноктюрн?

— Конечно, с удовольствием, Николай Иванович! Бог знает, когда придется мне еще играть... Есть-ли даже там рояли?.. и она махнула головой в сторону берега.

— Что вы там говорите о прощаньи, милая барышня?—вмешался опять Барковский. — Раньше, как в день ухода «Ярославля» с рейда мы вас на берег не снимем. Это приказ командира. С'езжать—с'езжайте! Погуляйте, посмотрите да и опять домой. Слыхали? Морской дисциплинарный устав знаете? Ну, так вот-с; ни о каком прощаньи пока, значит, и разговаривать нечего!

— Рояли в посту Александровском, конечно, есть, Ольга Михайловна,—успокаивал Паттон снова задумавшуюся собеседницу. — У Турских хорошее пианино; и сам он недурно играет, только безалаберно как-то, бессистемно, как и подобает лицеисту. У доктора Ларова пианино; и сам он поет, и жена его Анна Васильевна тоже; хотя играть — не играет. Доктор Зацепский поет уже совсем недурно, со школой; учился даже где-то. У Серебрянских пианино; у почтмейстера, Краузовских то же...

— Что вы, что вы! — замахали и остальные, имевшие на берегу знакомства офицеры. — Да там раздолье вам будет насчет музыки! Вы царицей будете! Инструментов много, музыкальных людей тоже, а играть и учить некому.

— А из политических нет ли у кого пианино?

— Ну, где-же у них!—промолвил старший офицер. — Ведь из двадцати с лишним человек, живущих в Александровском округе, семейные почти все из партии польского пролетариата, т. е. быв-

шие мастеровые и фабричные рабочие. Ссыльные интеллигенты живут все холостяками, дичатся тамошнего чиновничьего общества и «продолжают упорно отрицать семью, собственность и государство», как пишет о них губернатор в своих ежегодных отчетах, куда следует. Какие уж тут пианино? Да вот сами увидите.

Завтрак кончился, и кают-компания опустела.

— Видите ли, дорогая Ольга Михайловна,—говорил Паттон, придвигая кресло поближе к пианино и задумчиво глядя на облака, бегущие перед окнами уютного маленького салона. — Конечно, та миссия, которую вы на себя возлагаете, в высокой степени красива, поэтична и уже потому полезна. Доставить возможность этим измученным людям иметь хоть несколько минут забвения от постылой каторжной обыденщины, — что может быть лучше? Но... Я говорил как-то с Бражниковым. Странный он человек. Какой-то недоделанный точно. И все они такие. Может, я ошибаюсь,—ведь, я, собственно, не знаю близко внутреннего мира этих людей,— но мне кажется, что все они излишне искалечены партийностью. Это в них—вторая натура! В'елось!... Что̀ не входит в рамки партийной морали, то — плохо.

Паттону казалось, что он попал в точку, и, неожиданно ожесточившись, он бросил сердито:

— Ералаш какой-то. Одичание.

Ершова с удивлением посмотрела на него. Паттон же продолжал:

— Вам будет трудно среди них. Это—люди не вашего круга... А вы еще так молоды и неопытны!

— Но позвольте, Николай Иванович!—обернулась к нему девушка, рассеянно наигрывая тихие аккорды из шопеновского ноктюрна.—При чем здесь моя молодость и неопытность? Молодость— значит сил больше. Ведь правда же, Николай Иванович? А опытные люди не являются же прямо с неба? Когда-нибудь начинают же они свой опыт? Ведь ему не учат в каких-нибудь специальных академиях? Потом, почему вы приписываете мне такие широкие и величественные стремления? Просто, я говорила, как мне хотелось бы устроить свою жизнь с Борисом, когда его выпустят из тюрьмы. Начальник главного тюремного управления сказал мне, что это может случиться через 2 года, так как в зачет примут его сиденье в Петропавловской крепости, в Предварилке, в Московском замке и прочее. Он осужден на 20 лет; значит, испытуемых полагается 4 года; вот и остается ждать 2 года. А по отбытии этого срока, он, как семейный, будет выпущен из тюрьмы на квартиру. И вот, я уже теперь мечтаю, как мы будем жить... Ах, я так его люблю, вы не можете представить, как я его люблю—я готова перенести что угодно для этого!.. Я уже теперь мечтаю, как мы будем жить. Будем заниматься с детьми, давать уроки. У меня, кроме того, будет моя музыка. Борис сможет писать, у него есть влеченье к этому... А вы все преувеличиваете,

Николай Иванович, и только пугаете меня... Но я крепкая... А о «миссии», как вы говорите, я мало думаю. Я люблю Бориса— и в этом все.

— Милая вы девушка! — проговорил Николай Иванович, невольно любуясь разгоревшимся личиком своей собеседницы и открытым вопрошающим взглядом ее черных глаз, опушенных длинными прямыми ресницами. — Вы и сами не подозреваете, сколько в вас какого-то стихийного, неквалифицированного героизма, и к каким подвигам незаметного, молчаливого труда он, этот героизм, вас еще приведет. Право, несчастье и злоба стали бы редкими явлениями на земле, если бы хотя одна десятая часть людей думала так же, как вы. Поиграйте, если вам не трудно, пожалуйста!

Ершова согласилась, и звуки Шопеновской лирики—то мягкие и нежные, как говор волны в лесном ручейке, когда в зеленом сумраке студеной струйкой спадает он с мшистого камня, то мощные, нарастающие, с рыданьем и стоном клубящиеся звуки— огласили кают-компанию.

Паттон сидел, закрыв глаза рукою.

За окном реяла чайка, и море тихо плескалось у борта.

— Ваше-скородие, а ваше-скородие! — взывал моряк, после напрасного стука приоткрыв дверь и заглядывая внутрь салона.

Музыка оборвалась. Очарование исчезло.

— Ну, что тебе? В чем дело? — недовольным тоном спросил Паттон, открывая глаза и приподымаясь из кресла.

— Так что двое вольных с берега барышню спрашивают. Вот их-с!—указал матрос на обернувшуюся Ершову.

— Что им надо? Какие вольные? Ты не знаешь?

— Как же-с!—осклабился матрос. — Знаем довольно, ваше-скородие. Один—господин Бражников будет; кажинный рейс к механику Иванову заходят. Хороший господин, простой, из политики энтой; сами выпьют и тебя угостят... И сейчас здорово...

— Ну, ну, ладно... А другой?

— А другой—Штембер; сурьезный такой, чернявый; из жидов, должно; головой все крутит; с им вместе.

— Ну, хорошо! — усмехнулся Николай Иванович. — Проси их сюда.

Матрос вышел.

— Вот вам и первый визит. Принимайте гостей, сударыня! Я вот там, в столовой, буду. Если понадоблюсь, постучите в переборку!

Верный своему решению, Бражников с десяти часов утра уже был на пристани.

Штернберг обещал приехать на пароход к часу и просил обождать его у механика, чтобы вместе нанести визит невесте Сосновского.

Теперь Бражников давно уже сидел у Иванова и вел с ним неистовый спор, поминутно поправляя очки и дергая себя за бороду.

Бражников поминутно вскакивал со стула и пытался шагать по 3-аршинной каютке, натыкаясь то на умывальник, то на тепловую батарею, то на угол кровати.

Оба нещадно курили, и дым, застилая сизым туманом маленькую каютку, клубами выходил из открытого иллюминатора.

— Нет-с! Так нельзя, почтеннейший! — горячился Бражников. — Берущийся за рало—не должен оглядываться назад! Вступившему на путь революционной пропаганды смешно и позорно прятаться за шкурные соображения! Жидки вы на расправу стали, молодые люди! Чуть-что,—сейчас и в кусты. Позор-с!

— Да позвольте, Василий Петрович!—раскипятился и тот.— Нельзя же так огулом всех подводить под одну мерку. И с чего вы взяли, что я—в кусты и прочее там?.. С того, что я несогласен разбросать в кубрике листовки? Об этом инциденте...

— Да-с! Именно об этом «инциденте», как вы изволили выразиться, я и говорю. И позвольте вам заметить, что это не «инцидент»! нет-с! нет-с! Это—акт планомерной пропаганды в войсках! Вот что-с! Это—серьезнейшая вещь, а не «ин-ци-дент! Что мешало всегда и мешает теперь активному проявлению революционного настроения в народных массах?—набросился он опять на собеседника, дергая себя за бороду.—Что усмиряло и усмиряет крестьянские бунты? Что мешает рабочим забастовкам? Что разгоняет студенческие сходки? Что держит в страхе и трепете все честное, все мыслящее, все зовущее к гражданскому самосознанию? Что? Штык-с, молодой человек! Штык! И этот штык надо повернуть в другую сторону. Не уставая, надо забрасывать солдат и матросов и сверху, и снизу, — отовсюду, где только можно, листовками, прокламациями, воззваниями... Надо будить, шевелить солдатские и матросские мозги, одуревшие от дисциплинарного гипноза. Иначе ничего не выйдет! Иначе будут только жертвы и жертвы без конца; одиночные и групповые, как было до сих пор. Они показательны! Они нужны, но слишком дорога эта кровь для достигаемых результатов. Нужны другие меры, массового характера!

— Да что вы в самом деле, Василий Петрович! Но войдите же вы и в мое положение: я доставил вам целую груду листовок «Солдатская памятка» и прокламаций «К русскому солдату», а вы предлагаете мне подбросить их к нам же в кубрик. Матросы найдут, перепугаются и—к вахтенному. Но ведь это недопустимо по техническим соображениям. Ну, представьте себе: формальное следствие, перекрестный допрос, и я—засыпался. Значит — что? Значит вы же сами лишаете себя на будущее время всяких сношений с внешним миром, а меня подведете под манифест! Все, что могу, то делаю. Но этого — боюсь.

— Ну и на-ку-ку-курено же у вас тут, — послышалось знакомое заиканье, и, нагнувшись, сквозь низенькую дверцу пролез в каюту Штернберг.

— Ах, чорт меня побери! — схватился за бороду Бражников.—А визит-то?! Я и забыл совсем!.. Ну хорошо, идем, идем.— А барышня, знаешь, не нашего круга. Мне Иванов рассказывал свои впечатления... — говорил Бражников, прогуливаясь по шканцам под руку со Штернбергом, пока вестовой ходил в салон с докладом.— В ней как то все перемешано: и детская наивность, и стихийная жажда подвига, и глубина чувства зрелой женщины... Чорт знает, что такое он нес мне. Ничего определенного. Трудно с ней будет... Не знаешь, с какого конца приступиться. Да еще музыкантша такая, говорит, что заслушаешься...

И он покрутил головою, лишний раз дернув себя за бороду.

— Пожалуйте. Барышня там, ожидают — появился перед друзьями улыбающийся матросик.

Они вошли в салон.

— Это не возражение, — говорил через полчаса Штернберг, крупными шагами измеряя салон и водя за собою едва поспевавшую собеседницу. — И я не вижу никаких затруднений к тому, чтобы, с подобающим, конечно, декорумом, отклонить переселение к Турским. Ибо все дело в том, что Турские, как бы они ни были подчас снисходительны к политическим, как бы ни фрондировали против губернатора, — все-таки принадлежат к кругу наших и вашего жениха тюремщиков. Дело не только в том, что мы, отбывая здесь свое так называемое наказание, находимся в плену у врагов, а также и в том, что и в плену наша обязанность русских революционеров — продолжать по мере сил борьбу с этими врагами. В тюрьме-ли, в карцере, на каторжных работах или в вольной команде — мы продолжаем общеполитическую борьбу против этих врагов—слуг ненавистного самодержавия... Вы понимаете меня?

— Да, да, я понимаю вас, но...

— Виноват, дайте окончить мысль, и тогда все ваши «но», надеюсь, рассеются.... —Итак, я продолжаю. Вокруг этой основной линии, некоего политического кредо, и должны собираться и группироваться все остальные соображения общежитейского характера, вроде светских условностей, узко-мещанских обязательств и прочее. Что такое телеграмма Турской, как не самая пошлая светская условность, постольку, конечно, поскольку она накладывает на вас ярмо каких-то обязательств по отношению к враждебному лагерю? Вы вот сами же рассказывали, что были арестованы и 3 месяца просидели в предварилке по делу Сосновского и Солодовникова. Уже это одно, хотя вы и не принадлежите ни к какой революционной организации, накладывает на вас известный колорит сочувствия в сторону более чем определенную. Вы—наша по духу, если не по активности, и, как таковая, следуете той общей идее борьбы, о которой я вам докладывал, и с полным сознанием своей правоты отбрасываете в сторону мешающую традицию пошлой светской условности. Понятно? Вы согласны со мною?

— Я вас понимаю!.. Лев Яковлевич, кажется?.. Но вы-то меня совершенно не поняли. Я совсем другой человек, чем вы меня представляете: гораздо более простой и совсем не героический. Я понимаю и признаю борьбу против нашего правительства. Оно держит народ в темноте, спаивает его водкой и только делает людей несчастными. Но... но сама я — человек далеко не героический и не партийный. Уже по одному этому я не могу быть так принципиальна, как вы на этом настаиваете. Я просто женщина, я люблю Бориса больше всего на свете, — Ершова смахнула непрошенную слезу, —...и я больше всего хочу облегчить его участь. Ах, господа, поймите меня, — мне очень, очень тяжело!..

Штернберг утвердительно кивнул головой.

— Мне так хотелось бы, облегчить ему жизнь здесь... хотя бы чем-нибудь... в пределах закона хотя бы... И потому, восстановить против себя Турскую резким отказом я просто боюсь. Понимаете? Боюсь, что это на нем отразится... На Борисе... впоследствии. И ведь, она, строго говоря, непосредственно не принадлежит к лагерю ваших тюремщиков... Отказаться, и притом наотрез, сейчас, это по-моему... я опять о своем... только бы повредило Борису. Наконец, и в отношении Турской такой отказ с моей стороны был бы излишне жесток...

— Ага, жесток!.. — мрачно проговорил Бражников. — А это не жестоко — гноить людей на проклятом острове? Это не жестоко — засадить нас сюда?.. С этим вы не считаетесь, милая барышня...

Ершова беспомощно развела руками.

— Но ведь это же не моя вина...

— Еще бы это было ваша вина!.. Словом, я остаюсь при нашем предложении. Наше предложение товарищеское и вполне притом конкретное: вы переезжаете отсюда на квартиру к нам и помещаетесь в комнате Льва Яковлевича; он уезжает недели на 2 — 3. Поживете, оглядитесь. Затем мы вас познакомим с семьей одного местного врача, подготовим почву, — это легко сделать, так как у него четверо детей, и квартира большая. Туда еще отпустить вас можно, так как все равно иного выхода нет... Но...

— Но первый шаг отсюда — подхватил Штернберг, — вы должны сделать к товарищам, а не к начальству.

— К вам? — воскликнула девушка, с невольным страхом взглянув на Бражникова, который встал теперь с дивана и сурово глядел на нее поверх очков.

Потом она перевела глаза на Штернберга, опять на Бражникова и задумалась, машинально постукивая пальцами по крышке пианино.

— Конечно, у товарищей Бориса остановиться мне и самой больше хотелось-бы, чем у начальства, как вы говорите. Я для того и ехала сюда, чтобы сблизиться и быть полезной прежде

всего... Да! Но к вам, именно к вам лично... это... это только стеснит вас и меня! — уже совсем тихо договорила она, опуская голову.

Ей очень не хотелось бы прямым отказом обидеть и, может быть, оскорбить этих незнакомых людей, называвших себя товарищами ее Бориса.

Но, с другой стороны, Бражников ей казался желчным и нетерпимым, а Штернберг — заносчивым, и ей было бы тяжело жить с ними бок-о-бок.

— Во всяком случае, я не сейчас еще с'езжаю отсюда — сказала она наконец. — До отхода «Ярославля» я буду жить здесь. А там посмотрим. Может быть, и придумаем что-нибудь другое, более удобное для обеих сторон... Вы не обижайтесь, пожалуйста,—улыбнулась она, протягивая руки, одну Штернбергу, другую Бражникову. — Я так хочу Борису добра и... и, надеюсь, вы поймете меня?

Штернберг молча поклонился, пожав протянутую руку; Бражников помялся и сделал тоже, но наставительно добавил:

— Но помните: — или с нами, или против нас...

— Пойдем, пойдем! Вы не слушайте его, Ольга Михайловна. Он вечно ворчит и ругает всех товарищей, а особенно их жен. Ярый противник семейного уклада, а сам люльки качает, молочком в соске ребят кормит и разрывается по урокам у женатых товарищей... Прощайте. Так помните же, в случае чего — прямо к нам без стеснения.

Они ушли.

— Кисейность... Жантильность... бабье, — сказал Бражников своему спутнику.

Штернберг пожал плечами.

Ершова посмотрела вслед уходящим и подумала:

— А ведь и в самом деле, Паттон-то, пожалуй, был прав... Впрочем, что я говорю!..

И Ершова даже вздрогнула.

— Нет, нет, неправ. У Паттона—свое: он просто враждебен всем политическим. А у меня — свое: мне ведь было жутко только с этими двумя... Ведь — не враги же это!.. А, впрочем, посмотрим, как быть... до отхода «Ярославля».

Вечером приехала Турская.

— Деточка моя! Да какая же вы юная! И пушок еще на щечках! И ямочка на подбородке... Но это очаровательно!—шумно восторгалась она, покрывая смущенную Ершову бурными поцелуями и вертя ее во все стороны. — Совсем, совсем еще птенчик! Ах, птичка моя маленькая! А куда залетела! С ноготком, должно быть? А? Ха-ха-ха! Как вы находите, господа?—обратилась она к офицерам, с улыбкой наблюдавшим эту сцену. — Наша молодежь с ума сойдет. Ах вы, моя кошечка! Ха-ха-ха!

Она тормошила девушку так, как тормошат занятную игрушку, то принимаясь целовать ее, то порывистым движением откидываясь назад и впиваясь в нее смеющимися, довольными глазами.

Теперь она была в восторге, что настояла-таки на своем, когда, не видев даже девушки, на-зло мужу и губернатору решила поместить ее у себя.

— Да именно на-зло им — противным!

Не выскажи они протеста, она, пожалуй бы, призадумалась.. Сергей такой увлекающийся! Даром, что седина пробивается на висках. Еще в прошлом году затеял роман с дочкой этого штейгера... Ужас, что такое было!

Хорошо, что она потом замуж вышла за архитектора и уехала... Да!

А эта... эта не опасна. Ишь какая скромница! Раскраснелась, переконфузилась!

— Ах, вы, моя прелесть! Малюточка моя!

Она снова принялась тормошить Ершову.

Ее богатое соболье боа развевалось по воздуху; жемчужины в ушах прыгали, и хорошенькое личико дышало неподдельным одушевлением.

— Пойдемте, пойдемте к вам в каюту! Вы мне все, все расскажете! Это так интересно, так интересно! Ни в каком романе...

И, не слушая протестов окружающих мужчин, она утащила девушку из кают-компании.

— ...Но почему же вы отказываетесь, деточка? А у меня и комнатка для вас приготовлена! маленькая, хорошенькая! И шкаф зеркальный, и фонарик... Неужели стесняетесь? Как же вам не стыдно, голубчик? Мы ведь почти родные с вами, одной общей морской семьи. Вам рассказывал Остолопов?

— Да, да! Рассказывал.

— Ну вот. Так в чем же дело?

— Да видите, Елена Александровна...

И Ершова рассказала о своих посетителях и о их почти категорическом приглашении.

Турская расхохоталась.

— Два неистовых Роланда! Два ископаемых холостяка!.. И хорошенькая консерваторка... Глаза, как звезды... Нет, это же невозможно! Она сидит и читает им толстые фолианты!.. бр-р!..

Ершова улыбнулась, но настойчиво повторила:

— Я говорю, дорогая Елена Александровна, о принципиальной стороне вопроса...

Турская перестала смеяться и задумалась. Потом обняла девушку и сказала:

— А все-таки вы не слушайте их... Они неправы даже со своей точки зрения. Ведь вы будете жить у меня, а не у моего мужа—а какой-же я тюремщик? Ну, посмотрите, разве я похожа

на тюремщика? Как вилка на бутылку!.. И вообще, одно дело всякие там принципы и программы, а другое — повседневная жизнь. Ведь в быту, деточка, отношения складываются между этими двумя лагерями совсем-совсем по другому...

— А именно? — встрепенулась Ершова.

— А именно?.. Да тот же Бражников великолепно встречается со многими из чиновников и даже разговаривает... Многие, наконец, из его товарищей служат у нас по канцеляриям...

— Разве? — спросила Ершова.

— Ну, да... Политический Плосский занимает даже большой пост — и великолепно работает... Вот еще! Нет уж, пожалуйста, вы будете жить у меня и только у меня... Слышите...

— Может быть, — слабо сдавалась на ее доводы Ершова.

— Без всяких «может быть». Я — ваш друг, а не тюремщик.

— Тюремщик! — возмутилась Турская еще раз и рассмеялась. — Ах, вы, проклятые холостяки!.. Чего захотели!.. Так, значит, у меня, голубчик? Ну вот и спасибо, спасибо! До свиданья, хорошая моя Ольга Михайловна! Надеюсь, не раскаетесь...

Она еще раз обняла Ершову и, посылая рукой воздушные поцелуи, направилась к трапу.

Проводив Турскую, девушка прошла на корму и присела на канатной бухте, машинально следя глазами за исчезавшим в темноте катером. Потом задумалась — было о чем подумать.

ГЛАВА IV.

В трюме было шумно.

Только что пообедавшая публика пробавлялась чайком, и, сидя группами по 4 — 5 человек на нарах, вела между собою оживленные беседы.

Желторотая шпана заискивала у старых тюремных Иванов-обратников и нарасхват приглашала их то к одному кружку, то к другому.

Еще-бы! С одной стороны не мешало заручиться покровительством сильных мира сего, что требовало прежде всего материальных жертв, а с другой—эти знатоки всей подноготной сахалинских условий, разнеженные подобострастным угощеньем, охотнее делились с новичками своими сведениями.

Во время остановки «Ярославля» в п. Корсаковском для высадки малосрочных, таинственными путями получена была полная информация о современном положении вещей: кто — начальники тюрем, и какие у них обычаи; есть-ли фартовые люди среди надзирателей; как в тюрьме насчет «шестерки» (карты) и спирта; кто состоит палачом, и тому подобные сведения, которыми необходимо прежде всего обеспечить себя каждому здравомыслящему

человеку; иначе никогда из него не выйдет «примерного арестанта», и не подняться ему над несознательной массой «рабочих бугаев», запуганной и безответной «кобылки».

При первом же прикосновении к сахалинской почве тюремные Иваны уже знали всю подноготную, точно для этого у них был целый штаб и специальное радио.

К великому изумлению как начальства, так и «нефартовых» людей «с воли»,—малейшее изменение, каждое, даже небольшое событие каторжной жизни становилось известным не только в пределах острова, но и на материке гораздо раньше, чем оно могло бы дойти официальным путем.

Это импонировало, заставляло видеть в тюремных Иванах таинственную организацию, чуть-ли не вроде франк-масонской.

А между тем дело обстояло весьма просто.

На всех промежуточных телеграфных станциях острова, да и на материке тоже, начальниками контор сидели сыновья местных поселенцев, окончивших каторгу.

Предварительно они, конечно, проходили известный курс в качестве учеников на центральных станциях в Александровском, Кирсановском и Рыковском.

При отчаянной духовной нищете сахалинской обывательщины, интересы тюрьмы, поселения и местного чиновничества, сливаясь воедино, естественно служили предметом бесконечных сплетен, пересудов, догадок и, вообще, главным материалом для некоторого подобия духовной жизни.

И вот,—ежедневный, от нечего делать, обмен новостями по всем телеграфным станциям.

Личный состав этой неофициальной почты усиливался еще прислугой катеров, сплошь набираемой из бывших каторжан, сменами постовых солдат по береговым кордонам и т. д.

И уж, конечно, «головка» тюрьмы, хранители арестантских традиций и представители общественного мнения каторги—Иваны — прежде, чем кто-либо, успевали попадать в надлежащее русло и держаться в курсе событий не только «внутренней», но и «внешней» политики.

Это придавало им авторитетность и упрочивало власть над рядовой арестантской массой.

Трюмная обывательщина давно уже учла это обстоятельство и покорилась.

Немудрено, что, когда Федька Черный встал посреди прохода между нарами, снял с начисто выбритой цыганской головы своей залихватскую шапочку «пирожком», сшитую из серого сукна взамен форменной бескозырки, и замахал ею в воздухе, уперев левую руку в широкий, кожаный, шелками расшитый пояс, то публика сразу насторожилась, и разговоры стали замолкать.

— Господа каторжане!—звонко выкрикнул Черный, дождавшись, когда шум совершенно затих, и со всех сторон на него уставилось около двухсот самых разнообразных физиономий.

Слишком открыто выражать любопытство не принято кодексом арестантских приличий, и потому в окружающем трех'ярусном кольце лиц чувство это с большим или меньшим успехом прикрывалось маской собственного достоинства и известной сдержанности.

— Господа каторжане! Вот мы прибыли на Сакàлин. Кругом вода—в середине беда. Тут, брат, тебе не Расея. Тут дерут на совесть, если плеть не подмажешь. А палачом Сашка Голынский. Я его хорошо знаю. Плетью орудует—мое почтение! С одного маха дюймовую доску пополам перешибает; а захочет—тебе лист бумаги на ладони разрежет — и так, только ветерком пахнёт, даже не почувствуешь. Одно слово—артист. Что захочет, то из тебя и сделает.

Черный самодовольно усмехнулся и надел шапку на одно ухо, обводя собрание огненным взглядом своих наигранных, «арестантских» глаз.

Как опытный оратор, он знал, что если «кобылку» сразу, что называется, «ошарашить», то потом из нее хоть веревки вей.

— Так вот!—уже деловым тоном продолжал он, давши перевариться первому впечатлению и учесть всю глубину высказанной мысли. — Теперь, прикиньте-ка сами! Здесь нас в трюме двести человек. Из них десяти полняк следует получить (90 плетей), восемнадцати по сорока штук, а кто за лозанами (розги) пришел—сам про себя считай! Мелочи я не подсчитывал. Но и по этой части Сашка, если захочет, то полгода потом занозы у себя из спины таскать будешь; на спичечную фабрику хватит.

Это поддало жару.

Публика завозилась на месте. Многие полезли в затылок. Другие, угрюмо нахмурившись, искоса бросали на оратора недовольные взгляды.

— И чего издеваешься, черный дьявол!—думали они.—Хорошо, как у тебя шкура дубленая! С младых ногтей плетюганами вспрыскивается. А кому впервой... Да!

Но Федька знал, что делал.

Всю «шпану эту полоротую» он давно «на аптекарские граны взвесил».

Теперь он пустил в оборот достойный Демосфена прием, который назывался «покрыть козырем».

— А средство—простое, как все это душегубство в одну видимость обратить; в роде как на театре выйдет. Начнет он тебя стегать, аж плеть свищет, и от кобылки (скамья) щепки летят, а, между прочим, только едва-едва кожу просекает, чтобы для

вида кровь показать. Измажет тебе всю спину—глядеть страшно, а через два дня хоть свадьбу играй.

— Ну! Ну!—вырвалось у кого-то.—Ну!?

— А ты не нукай! Срок большой. Лет двадцать, поди, осталось. Дослушать успеешь!—оборвал Черный. — Да! Так вот, значит,—за все это удовольствие Сашка Голынский берет по гривеннику за удар плетюгом, по пятаку лозаном. На трюм приходится 1.620 плетей; вот уже 162 целковых подай. Да ежели 38 рублей оптом пустить на лозаны, то за две катьки он спорить не станет. Теперь правило знаете наше, арестантское? «Все за одного и один за всех!» По рублю с рыла недорого будет. А судьба у нас у всех одинакова: сегодня твоя карта бита, а завтра моя. А впрочем, как хотите. Моя шкура привычная, а вы—как желаете.

Палач Голынский с плетью установленного образца.

Черный молодцевато набросил халат на одно плечо и, драпируясь в него, как в римскую тогу, прошел на свое место.

Трюм зашумел.

— Вы как думаете, Борис Иванович? — обратился к Сосновскому сосед его по нарам, старый бродяга Викторов, коренастый брюнет с красивым лицом и какими-то ненормальными, точно стеклянными глазами.

После долгих мытарств бродяжеской жизни ему удалось устроиться в Москве под чужим именем и даже открыть номера для приезжающих.

Но потом бес попутал. Прикончил Викторов свою любовницу и, чтобы скрыть следы, разрезал ее труп на куски, запаковал в корзину и послал по накладной в Брест-Литовск на пред'явителя.

В результате—Сахалин.

— Да тут и думать нечего,—отвечал Сосновский, отрывая толстую суконную пуговицу у казенного халата и доставая из нее скатанную шариком рублевую бумажку.

— Ловко! — одобрительно усмехнулся Викторов. — У вас что-же? Все пуговицы такие?

— Не-ет! — рассмеялся Сосновский. — Только одна. Денег у меня вовсе нет; я же вам говорил. А этот рубль—случайный. Помните—в Москве на вокзале купчиха всех оделяла? Вот этот самый. В первый раз в жизни я получил подаяние и просто не знал, что с ним делать. Вот теперь пригодилось.

И бросил расправленную новенькую бумажку в шапку сборщика. Викторов недоверчиво оглядел его с головы до ног и дружески похлопал по плечу.

Сосновский был среднего роста юноша, с тонким станом, широкими плечами и энергичной посадкой головы.

Его карие глаза теперь ласково улыбались, а тонкие, длинные пальцы поглаживали едва заметный пушок над верхней губою.

— Не верите? Давайте меняться халатами!

Он сбросил свой и протянул руку за соседским.

— Верю, верю!—со смехом закричал Викторов, отмахиваясь обеими руками. — Денег у меня в нем тоже нет... я держу их в другом месте, менее цензурном и более секретном... Но просто привык к своим вещам... Да знаете, и вам не советую никогда мены делать: мало-ли с какими болезнями человек бывает... Вы, как студент, поди сами лучше меня знаете...

Ему стало совестно своего вранья, так как в халате у него было зашито более пяти тысяч рублей.

Перед открытым, чуть-чуть насмешливым взглядом юноши он сердито нахмурился и, отвернувшись, стал копошиться в своем вещевом мешке.

У Сосновского денег, действительно, не было. С самого начала своей каторжной карьеры он поставил себе за правило: пока в тюрьме с уголовными, никогда ни в чем не отличаться от самого заурядного рабочего арестанта по внешности; и строго соблюдал свое слово. Он носил только казенные вещи, курил выдаваемую махорку, ни разу не купил себе бутылки молока или фунта белого хлеба. Фрукты, табак и сигары, присылавшиеся невестой во время стоянок в тропических портах, немедленно делились между ближайшими соседями, как обыкновенные подаяния «с воли», и даже стакана он себе не завел, а пил чай из половины кокосовой скорлупы.

Трюмная публика, официально, по крайней мере, скоро признала его за своего, а несколько бесплатно написанных писем и прошений окончательно разбили лед.

Роман его все знали, мало понимали, но относились к нему с большим сочувствием. В дни свиданий туалет его совершался при благосклонном участии чуть ли не половины трюма: кто давал ему тонкий, не серый, как обыкновенно, а синеватый халат

с аккуратно заштопанным тузом на спине; кто предлагал изящным узором расшитые подкандальники—«для красоты», потому что кандалы были сняты со всех еще в Красном море; кто заботливо надвигал на одно ухо новенькую шапочку «пирожком» — своеобразная арестантская мода, и т. д.

С чувством патриотического тщеславия провожало всегда Сосновского население трюма, когда, разряженный таким образом в пух и прах, поднимался он на палубу между двумя конвоирами.

Однако, чутьем интеллектуально развитого человека он чувствовал, что связь эта с духовным миром каторги еще слишком непрочна, что за ним, за каждым его словом, за каждым поступком негласно наблюдают четыреста глаз.

Он понимал, что бездну, веками вырытую между «белой костью» и «черной костью», нельзя заполнить одними прекрасными словами, и решил прибегать к ним как можно реже.

Проще—на деле проявлять полнейшее свое равнодушие к вещам и привычкам, свойственным по их понятиям барину, белой кости.

То, что он был «политическим»—только усиливало общую настороженность.

— Поди—свысока смотрит на нашего брата,—уголовного... Да и шут их знает, этих политических, чего им надобно?.. Разное говорят про них.

— А правда, Борис Иванович, будто царя убили за то, что крестьян освободил?.. Помещичьи сынки, мол, убили в отместку за разорение отцовское?..—обратился однажды с вопросом к Сосновскому каторжанин, прозванный за свою ограниченность и невоздержный язык «осиновым бóталом».

Невдалеке остановилась группа «Иванóв», слишком явно делавших вид, будто ничего не слышат и не замечают. Ясно, что «бóтало» был ими подослан с целью.

Нисколько этим не смущаясь, Сосновский вкратце и по возможности простым языком принялся излагать события пятидесятых годов, поставившие правительство перед дилеммой: или освобождение крестьян, или повсеместные бунты.

— Помещик-то к этому времени,—сказал он,—совсем переменился. Из барина превратился в заправского купца. Стал на рынок поглядывать, о ценах на хлеб справляться да на этот рынок и сбывать весь свой хлебец. Ловко так стал орудовать; крестьяне крепостные ему работают, а он им, вместо благодарности-то, что ни год, то и сбавит запашки. Что ни год, то и больше безземельных,—а крестьянину как же быть без земли?.. Повертится, повертится какой-нибудь Тихон или Родион—и одна дорожка: в батраки! А уж с них—вы это лучше меня знаете—умели шкуру снимать. Вот и начались бунты. Да какие!—целыми уездами... Про Пугачева или Стеньку Разина слыхал?—спросил он неожиданно близ стоящего арестанта.

— Ну, как же: доводилось!—ответил тот.

— Ну, так вот, запахло таким Пугачевым, что дворянчики перепугались! Сами по шестнадцать эскадронов кавалерии вызывали зараз в один уезд,—а все с крестьянами нет сладу. И спокоя нет—так и стоит за спиной призрак Пугачева да Степана... И вот— в собственных же их интересах и было решено покончить с крепостным правом... Конечно, не сразу к этой мысли пришли—долго сопротивлялись—да крымская война уж очень их всех подвела; провоевались вдребезги. Одни долги у казны в это время только и были. Ведь это с его высокого соизволения, по разным там землеустроительным комиссиям, куда он напихал одних дворян,—придумали для вашего брата-землепашца круговую поруку. Дескать, вы свободны, дорогие мужички, а только уж, пожалуйста, подати-то потрудитесь платить исправно и под круговую ответственность. Вот вам и воля! Ну, да и с землей вышло не лучше. Вместо того, чтобы отдать ее вам даром—потому что ведь вы же ее своим потом кровью поливали,—с вас взяли деньги,—да какие! В Московской губернии о ту пору десятина земли стоила 26 рублей, а с крестьян царь-батюшка приказал слупить 51 рубль с полтиной! Втридорога! А уж о дворянах о своих он так заботился, так заботился, что приказал ваш долг за землю перевести на казну и выдать дворянам незамедлительно. Крестьянам же разрешил этот долг погашать в рассрочку. И называлось это: выкупные платежи. Только какие же это платежи,—это просто петля на шею! И никто из этой петли, кроме кулаков, и не вырвался. Работает, работает иной труженик в поте лица всей семьей, а посмотрит—урожая-то только на подати и хватило. Ведь лучшая-то земля и угодья остались все-таки за помещиками. За что же после всего этого дворянам или их детям было убивать царя—не за что: свой своему поневоле брат.

— А что-ж царь?—спросил кто-то мрачно из угла.

— А царь,—ответил Сосновский, — как был он головкой над дворянами, так такой головкой и остался. От крепостной-то зависимости он вас освободил—только больше на словах, а не на деле. Ведь мужику что было нужно? Земля! И еще что?—Воля! Землица—чтоб кормиться, а воля—чтоб самому своей судьбой распоряжаться. А что получилось?..

Собеседники придвинулись поближе, сидели не дыша. И Сосновский продолжал:

— Получилось все так, как будто делалось для дворян, а не для вас. Захотел, например, крестьянин волюшки, порешил из своей деревни уехать—хвать! «Мир» не пускает, не хочет выписать из общества. А почему? Да ведь подати-то платит «мир», а если кто из общества выпишется и уйдет,—так, значит, на оставшихся-то на душу платить больше придется,—вот «мир»-то и не пускает общественника... Выходит как-будто, что «мир»

виноват: приневолил человека. А если разобраться по настоящему,— так вовсе не «мир» так приневоливал, а царь-батюшка.

— Да! Это—действительно! Вот—здорово!—зашумели кругом. — Где бы таких книжек найти, чтобы все подобное было прописано! А то в школах учились, и в высших начальных— многие, а ничего такого не слыхивали...

— Ишь, чего захотели!—засмеялся Сосновский. — В школах! Там и пикнуть об этом учитель не посмеет, а то сейчас упрячут, куда и ворон костей не заносит. А книжки такие?.. Мало-ли нашего брата «политических» за книжки да за разговоры такие по тюрьмам гниет? За то и преследует нас царское правительство, что мы пытаемся глаза народу открыть.

— А позвольте вас спросить, какая именно вам от этого выгода?—хитро усмехнулся, подмигнув одним глазом, подошедший Федька Черный.

— Выгода, выгода! Тебе-бы все о мамоне только!—вмешался старичок-бродяга из раскольников, по прозванию «святая душа».

— Да какая-ж выгода!..—сказал и Сосновский—Больно смотреть, как мучится народ. Кругом—беззаконие, кнут, палка, казнокрадство, поборы... Впрочем, если хотите,—и он посмотрел Черному в глаза,—есть и выгода. Нам, ученым и образованным людям, тоже куда будет легче жить в России, если вся она станет на новые рельсы. Не будет кнута и рабства—всем будет лучше.

Таких инцидентов было немало, и все они показывали Сосновскому, насколько неясной и чуждой была его личность тому миру, в который судьба его забросила, и как трудно будет ориентироваться среди всех его сложных и противоречивых течений.

Одно только стало ему ясным: ни в каком случае нельзя ронять авторитетности «Иванов», обнаруживая свое духовное преимущество в делах внутреннего уклада каторжной жизни.

И этому правилу он решил строго следовать, никогда не вмешиваясь ни в какие тюремные передряги.

За полтора месяца совместной жизни с уголовщиной, линия поведения его настолько определилась, что мучительный кошмар ожидания сахалинской каторги понемногу стал рассеиваться.

Физического труда он не боялся и знал, что как сила, так и выносливость его не уступят огромному большинству этих людей, измученных тюрьмой, убийственной монотонностью ее жизни и ее пороками, и, кроме того, на его стороне интеллектуальные преимущества и интересы, которые намного могут скрасить монотонную жизнь.

А ясная, как ему казалось, цельность мировоззрения, цели, во имя которых он сознательно шел на тяжкий труд и обстановку каторжника, способны были, при каждом соприкосновении с ними, удваивать падающую энергию и неиссякаемыми сделать физические силы.

Сердце его расширялось от избытка сил и любви ко всему страдающему. Никакая жертва не казалась слишком большой для того, чтобы снять хоть один камень с тернистого пути родного народа.

К тому же с ним была его любимая Оля, «копье неизменное», как прозвал ее кто-то из соседей по трюму за то, что и в деле его не выдала, и тюрьмы не испугалась, и в каторгу за ним пошла одна одинешенька, не посмотрела ни на какие препятствия, которые нарочно перед нею ставились.

Чего же еще ему нужно?

Нет, жизнь положительно хороша! Неизмеримо хороша во всех своих проявлениях!

На самом дне ее, в такой темной бездне, как каторга,— и тут сколько страсти, неизношенных чувств, наконец, сколько колорита!

Так думал Сосновский, лежа на нарах у самой выходной решетки.

Сегодня он виделся с невестой и узнал о визитах товарищей и Турской.

В глубине души ему, конечно, страстно хотелось, чтоб она жила у товарищей—и только у товарищей. Но он не считал себя вправе настаивать перед нею на этом.

Он вспомнил, как он много раз отговаривал, умолял ее не ездить за ним, как не мог сломить ее упорства, и как ему тяжко было сознавать, что она будет жить на страшном и унылом острове на полубесправном положении.

Он тогда-же решил, что предоставит ей на острове известную свободу и постарается не связывать ее своими настояниями.

— Раз ты считаешь это удобным,—сказал он ей,—значит, так тому и быть. Но, конечно, как только ты почувствуешь себя у Турской почему-нибудь неловко, ты мне скажешь об этом, или посоветуешься с кем-либо из товарищей.

Все это теперь вспоминалось Сосновскому.

— Милая!—думал он, пуская кверху кольца махорочного дыма из артистически свернутой «собачьей ножки.

— Вто-рой трюм к высадке го-тоовсь!—заорал сверху зычный голос.

Каторжане зашевелились.

Надевая за спину вещевые мешки и потуже запахивая халаты, по-одному стали они выходить в узкую дверцу решетки, и скоро палуба покрылась серой арестантской массой.

Безмолвно стояли люди, вглядываясь в неприветливый берег. Многие мелко дрожали.

— Чего приуныли, соколята?!—закричал белокурый весельчак Пшеничный, улыбаясь во весь рот и приплясывая на месте. — Не на чужбину куда, а в родимый дом, чай, приехали! Не зря и остров-то Соколиным прозывается.

— А ты не шути с этим, паренек. Накликаешь себе на голову; и впрямь Сакалин родимым домом тебе сделается, — наставительно заметил старый бродяга Залетный.

— Ты лучше, милый, покрестись три раза, — зашамкал «святая душа»,—да и молви про себя:

— На море-океане,
На острове Суяне
Сидит ворон на цепи.
Сокол мимо пролети...

— Ну, и . . . . . .—в рифму закончил Пшеничный, возбудив хохот окружающих и сердитую воркотню непрошенного советчика.

Темными валами громоздились на небе тучи, и аспидного цвета море сердито шумело.

Пароход еще не качало, но поданная к трапу большая деревянная баржа со скрипом терлась о борт и высоко прыгала.

Спускаться в нее было трудно; особенно мешали длинные халаты и вещевые мешки.

Какой-то нескладный «бабай», бородатый раскосый татарин с огромным тюком тюфяков, подушек и чайников за спиною и вещевым мешком на груди, сорвался с трапа и бултыхнулся в воду.

К счастью, баржа в это время отошла от борта и утопающий с хохотом и криками—«вира помалу!»—водворен был на место со всем своим скарбом.

Вот и берег.

Под защитою мыса Жонкиер волнение здесь значительно меньше.

На пристани—начальство, в высоких черных папахах, с позументом на верхушках, и длинный ряд конвойных солдат с винтовками.

— Кто политический? Выходи первым!

Сосновский протискался к борту и по крутой сходне с поперечными рейками выбрался на высокую пристань.

— Станьте вон там,—вполголоса, вежливо сказал высокий, чахоточного вида чиновник, указывая на конец солдатской цепи.

Каштановые, крутые завитки волос выглядывали у него из-под высокой папахи, и небольшая курчавая бородка едва тронута была первым инеем старости.

Серые глаза устало и тускло смотрели из-под густых черных бровей.

— Кто это?—шопотом спросил Сосновский у поместившегося рядом с ним конвойного.

— Это? Начальник тюрьмы Серебрянский, Петр Алексеевич. А вы сами — политический? — также шопотом осведомился солдат, прислонив винтовку к локтю и доставая пачку с папиросами.

— Это что же? Из тех, что царя убили?

— Хоть и не совсем из тех, а вроде,—улыбаясь заговорил Сосновский.—А тогда-то мне еще и десяти лет не было.

— Да вы присядьте. Кладите мешок вон на балку и садитесь; здесь чисто, — приветливо приглашал конвойный, оказавшийся старшим по наряду.—Моя фамилия Бодров будет. Позвольте познакомиться. Очень уважаю я политических. Образованные люди, знаете; поговорить приятно. Мейснер, например, Иван Иванович — очень хороший господин; Плосский тоже—весьма с большим образованием; в канцелярии губернатора даже служит; само начальство просило; Бражников, Василий Петрович, весьма сурьезный господин, а очень, очень обходительный: сейчас чайку и винца поднесут, как зайдешь; книжки разные предлагают... Да боюсь я... очень уж строго у нас насчет книжек,—конфузливо закончил Бодров.

— Не желаете-ли легонького?—предложил он, заметив, что Сосновский свернул собачью ножку и, прикусив ее зубами, полез в карман.

— Да спасибо, спасибо!—отнекивался тот.—Я, знаете, привык уже к махорке.

— Нет, уж возьмите. Очень даже обидите. Мы ведь тоже понимаем, как из хорошей жизни, да в таком климате оказаться. На воле, поди, сигары немецкие курили, а здесь... Вы, говорят, генеральский сынок будете?

— Положим, не генеральский!—засмеялся Сосновский, беря папиросу и закуривая. — Мой отец просто военный врач, теперь в отставке, статский советник, правда, но не генерал и генеральского, вообще, в нем очень мало. Да откуда у вас такие сведения?

— Эх, милый барин, — не знаю звать-то вас как, — начал Бодров со вздохом.—Да при здешней тоске...

— Не барин, не барин!—перебил его Сосновский,—не барин, а Борис Иванович! Никогда я не был барином и не буду! И, вообще, от души советую вам никогда не употреблять этой позорной клички. Она осталась от крепостного права и давно пора-бы сдать ее в архив.

— Вот, вот! В-аккурат то-же, что Бражников, Мейснер и прочие. Не дай бог, обзовешь барином,—улыбнулся Бодров,—как вскочат, как начнут чистить... И позор тут, и рабство, и личность, значит, и все такое; взогреют, как в бане. Хор-рошие господа!

Высадка между тем кончилась.

Арестанты были выстроены в две колонны и пересчитаны.

— Кон-вой, заходи!—гаркнул Бодров далеко раскатившимся, прямо оперным баритоном, и колонна тронулась.

Впереди шел тюремный надзиратель, по бокам солдаты.

Начальство уехало вперед на пролетках и шарабанах.

Проверив интервалы, Бодров беглым шагом обогнал колонну и пошел рядом с Сосновским, стараясь попадать в ногу.

— Сегодня я дежурю, значит, при конвое у карантина, Борис Иванович,— начал он вполголоса. — Как устроитесь, чайку попьете, так выходите к воротам. Тут на бревнах,—во-он лежат,— вся политика вас ожидать будет. Меня уж упреждали Бражников Василий Петрович и этот, чернявый, как его,—Штенбер...

— Ты ничего, Ферапонтыч, иметь не будешь? Они, значит, поблагодарить тебя сулились, чтобы пропустил, то-есть, их вот к воротам.

— А мне что? Идите. Что я, не человек, что-ли? Конечно, со своим всякому повидаться лестно.

Ферапонтыч был молодцеватый малый, с широко расставленными глазами, серьгой в левом ухе и тщательно закрученными кверху черными усиками. Повернувшись на ходу к Сосновскому, он плутовски подмигнул ему и вошел в ворота огромного загона, в конце которого виднелся карантин.

Разбившись на две части, солдаты пошли в обход двора, а публика, обгоняя друг друга, с шумом и гвалтом ринулась к зданию занимать лучшие места.

Не успев даже как следует поблагодарить Бодрова, Сосновский был увлечен общим потоком нахлынувшей на него сзади «кобылки» и, быстро пробежав двор с зеленеющей кое-где травою, очутился в просторном бревенчатом бараке с большими, светлыми окнами и чистым новым полом, но даже без признаков нар.

Половина его уже была занята первым трюмом и кишела народом.

Сосновский огляделся.

— Сюда! Сюда, Борис Иванович! Идите сюда, к печке поближе; я и местечко вам припас!—приставив одну руку ко рту и отчаянно махая другою, кричал ему кубанец Тиманов.—Вон и черкесы наши тут-же рядом!

В пароходном трюме Тиманов помещался рядом с Викторовым, соседом Сосновского, а за ним шли места черкесской шайки.

— Ну вот! Давайте уж и тут вместе!—оживленно говорил он, помогая Сосновскому снять мешок и очищая место у стенки.

Группа черкесов, высоких и стройных, приветливо закивала бритыми головами, скаля белые зубы.

Они почти не говорили по-русски, но видимо симпатизировали старому соседу по трюму и успели даже во время рейса подарить ему ноговицы и чувяки, чем немало его переконфузили.

Он не имел, чем отдарить, а отказаться—значило оскорбить их и нажить врагов.

Наконец, он попросил невесту купить в Нагасаки хороший английский охотничий нож с рукояткой из оленьего рога и подарил старшему из черкесов.

Надо было видеть, с какой торжественностью принял тот подарок обеими руками, и все пятеро приветливо закивали ему,

лопоча что-то на своем гортанном наречии и весело сверкая красивыми, черными, как уголь, глазами.

С тех пор старый черкес не иначе называл Сосновского, как «кунак», а молодые всячески старались услужить ему.

Вероятно, эта молчаливая дружба сыграла немалую роль в обуздании трюмных «Иванóв», которые не раз, особенно в первое время плавания, пытались всячески задирать Сосновского.

Черкесская шайка так настораживалась при этом, так дико начинали сверкать их глазища, и как-то по звериному щериться белые зубы, что всякая охота к арестантскому глумлению пропадала; благодаря этому, Сосновский имел время спокойно освоиться с положением и найти точки прикосновения с этой новой для него человеческой массой.

И теперь младший из кавказцев, гибкий и стройный, как девушка,—Ахмет,—предупредительно захватив чайники, побежал на двор, где пылали костры из собранного у реки сушняка.

— А где же Викторов?—осведомился Сосновский, когда Тиманов достал из котомки узорное полотенце и принялся аккуратно расставлять на нем свой стакан, кокосовую скорлупу, над которой всегда подсмеивался, мешочек с сахаром и жестяную тарелку с морскими галетами.

— Викторов? Ну, этот не пропадет. В соседний барак перебрался. Там у него знакомство фартовое нашлось... Да и пускай себе мастачит! От него, все равно, добра не жди; порченый человек вовсе. Какое дело в Москве имел, и то не удержался,—за лишнюю сотню рублей опять кандалы надел!

Сосновский уже попривык к своеобразной психологии мира отверженных и наперед знал, что не столько моральная сторона преступления подвергалась критике и обсуждению, сколько его целесообразность.

Мальчишку Пронина, перекрошившего ночью целую семью в 5 человек и нашедшего только два рубля денег да старые медные часы, которые он принял за золотые, называли «паршивым убивцем» и едва терпели его общество.

Бродягу же Залетного считали героем, когда он рассказывал, как, забравшись на лесной хутор с тремя подручными, он перевязал хозяев и поджаривал им пятки на лучинках, пока не сознались, где лежат деньги. Затем приперли они колом двери, забили ставни и подожгли весь хутор.

— Так живьем и сожгли проклятых. Ищи тут концов!

— А денег много нашли?

— Да тысячей около пяти; под печкой в горшке было спрятано, золотом... Да бумажками в сундучке поболе трех тысячей... Да кольца, сережки, браслеты разные, ложки там... Порядочно!

— Да! Вот это фарт! Чисто сработано! Здорово!

— А скотинку мы всю из сараев выпустили... Как занялось пламенем все, как закричала скотина не своим голосом... Ажно дрожь проняла... Мы и выпустили... Жалко стало!

— Кан-нешно!—подтверждали слушатели, сочувственно кивая головами. — Не душегубы какие! Чего тварь бессловесную зря этакой смерти предавать?

Все это было знакомо уже Сосновскому, и он, с жутким интересом слушая подобные рассказы, пытался найти логический подход к их психологии.

— Что это?—думалось ему:—атавизм, вырождение или паталогическое изменение в мозгу, атрофия каких-то центров, создавшая естественную для них и совершенно непонятную для нормальных людей логику мыслей и чувств?

Таким наблюдательным об'ектом был до сих пор для него Викторов, и с этой стороны ему жаль было с ним расстаться.

— А впрочем, времени впереди более, чем достаточно, и типы найдутся...—невольно улыбнулся Сосновский своим мыслям.

— Чего вы?—спросил Тиманов, заметив эту улыбку, но в дверях показался Ферапонтыч.

Сосновский встал.

— Ко мне товарищи пришли; на свидание,—взволнованно сказал он Тиманову. — Чайку после напьюсь, если останется.

— Идите, идите!—одобрительно усмехнулся чернобородый, видавший виды казак. — Товарищество—святое дело. Идите! А чаю хватит. Эти махмутки цельный день его хлещут — кивнул он в сторону черкесов.

Те заулыбались и закивали головами.

Сосновский пошел к выходу.

Через несколько минут он уже сидел на бревнах, жадно всматриваясь в незнакомые, но уже родные лица окруживших его тесным кольцом товарищей.

Точно какой-то психический ток пронизал их всех и слил воедино друг с другом.

Ласково-сдержанно, без традиционных об'ятий и поцелуев.

— Да это, пожалуй, вышло-бы комично, и только расхолодило бы серьезную радостность встречи,—пришло в голову Сосновскому. — Вышло бы похоже на христосованье в церкви со священником!

И он счастливо и молодо улыбался, обеими руками пожимая руки товарищей.

— Ну что? Как там, в России? В центре? Какое общее настроение? Что народовольцы? Есть-ли новые организации? Какие программы?—сыпались отовсюду вопросы. Через сколько лет можно ждать революции? По журналам, между строк сквозит такая реакция, такое давление сверху, что долго так продержаться не может.

— По-погодите, товарищи! Так ничего не выйдет!—заволновался Штернберг, скорчив невероятную гримасу и поднимая кверху руки. — Вы его только сбиваете с толку.

— Конечно, конечно. Тише,—подхватил Бражников.—Успокойтесь, пан Форминский! Совсем нечего соболезновать молодости товарища; в этом лишь его преимущество!

— Не велика заслуга быть таким старым хреном, как ты!—наставительно добавил Серошевский, толкнув кулаком в бок Форминского.

— Тише, тише! Говорите, Сосновский. Рассказывайте все по-порядку!

— О настроении общественном вам говорить нечего,—начал тот, — вы его не хуже меня знаете по журналам. Они здесь, вы говорите, получаются?

— Да, да! Есть и «Русская мысль» и «Русское богатство». Хоть два раза в год получаем, но все же судить можно.

— Ну вот. Идет переоценка ценностей... Начинается как бы подсчет сил; пока еще смутный, мало осознанный, как и всегда в годы реакции. Одним словом—эпоха исканий... С одной стороны—Нитцше, с другой—Толстой... Это—на легальном фронте... А на нелегальном... — и Сосновский на мгновенье задумался, как бы собираясь с мыслями. Он знал, конечно, что состав сахалинских политических далеко не однороден по своей партийности, что в тюрьму и на поселение, конечно, уже дошли вести о новых политических группировках, и новые задачи этих группировок, конечно, взбудоражили умы и нашли сторонников, а если не сторонников, то благодарную почву для пропаганды. Поэтому, сам будучи революционером народнического склада, он хотел в своей информации быть, главным образом, информатором, — но не более.

— А на нелегальном—продолжал он—активная работа, конечно, идет, но в страшно замедленном темпе, в чаянии будущего оживления. Не отрицаю, в идеологии самого народничества — дело не без трещины. Метод «единоборства» с царизмом, как вы знаете, окончательно оставлен. Ведь, несмотря на исключительный героизм отдельных «единоборцев» и их изумительную энергию,—результаты получились ничтожные. Поэтому, критический обстрел прежних программных положений народничества продолжается... Впрочем, наступившее затишье принесло и плюсы: происходит перегруппировка сил и последующее их накапливание. Программы партий начинают строиться на сочетании политической борьбы с длительной пропагандой идей научного социализма... И уж теперь ни представители народничества, ни последователи К. Маркса в России не мыслят себе революцию иначе, как сделанную массами, а не одиночками-революционерами. В связи с этим, устанавливается, особенно со стороны последователей Маркса, иной взгляд

на террор. Целесообразность террористических актов с их стороны вызывает большое сомнение...

— Совершенно согласен с этим,—вмешался возбужденно Штернберг,—совершенно согласен. Террор изжил себя. Если хотите, товарищи, то террор явился ничем иным, как плодом слабости сил «Народной Воли», которая, не организовав рабочего движения, тем не менее, силою исторических вещей, вынуждена была вступить в борьбу с самодержавием... Его роль сыграна, и террористические акты...

— Ну, это еще под сомнением,—возразил Сосновский. — И под большим сомнением. Одно развитие, хотя бы в среде рабочих, научно-революционной мысли, без приучения к кровавым столкновениям с полицией и войсками,—никогда не воспитает в них людей, способных к восстанию. Пример—германские социал-демократы. Революционное воспитание масс, по-моему...

— А по-моему,—перебил нетерпеливо крутивший длинные седеющие усы пан Форминский, — по моему, и рассуждать тут нечего! Я сам рабочий и в 63-м году рубился в повстаньи с казаками. Помню, как Муравьев нашего брата вешал в Варшаве. Чего им в зубы смотреть? Бомба, кинжал, пропаганда, повстанье... катай все сразу! Поджали бы хвосты, пся кревь!

— Ну уж вы всюду свое повстанье сунете, пан Адольф!— с добродушной усмешкой сказал Кузин, молчаливо стоявший в сторонке, небольшого роста безбородый блондин со светлыми, золотистыми волосами.

Задумчивый вид, длинная, туго стянутая ремнем серая куртка и высокие сапоги придавали ему вид охотника из Куперовских романов.

— Все ваши повстанья повели только к разделу Польши.

— Ну и цо такего? Чи Польша пану свет застит,—набросился на него вскипевший старик, но кругом зашикали, и Сосновский продолжал.

— Вообще говоря, активная работа находится в стадии организационной. Возникший в Петербурге «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» пошел в рабочую гущу, собирает кружки и ведет там систематические занятия. От народничества он совершенно отмежевался... Отмежевался и от легальных марксистов. С другой стороны, Плеханов, основатель группы «Освобождение труда», ведущий большую теоретическую работу, заявляет, что революционное движение в России может восторжествовать только как революционное движение рабочих. Соответственно с этим и ведется их работа.

— Ну хорошо,—вмешался опять Кузин.—Рабочие рабочими. Но ведь на полтораста миллионов населения России их едва наберется полтора, два миллиона; остальные — крестьяне! Тут как? Вряд-ли крестьяне, эти мелкие, но самые заядлые собственники,

согласятся на диктатуру партии, возглавляющей пролетариат, т. е. бездомную фабричную голытьбу?

— А пролетаризация такой колоссальной толщи собственников, как русское крестьянство, займет несколько веков—подхватил Сосновский.—Вот именно тут-то и скрыто научно-логическое обоснование возникающей на развалинах «Народной Воли» партии «Народного права», а также историческая жизнеспособность ее идей.

«Счастье народа, доля его:
Свет и свобода—прежде всего!»

Вот наш лозунг, вот наше знамя! Наше дело — задачи партии — должно заключаться в том, чтобы всеми средствами, от бомбы до пропаганды во всех слоях общества без исключения, от мирных рабочих забастовок до вооруженных восстаний,—совершить политическую революцию. И когда, наконец, главный тормаз к народному просвещению будет уничтожен, то все силы интеллигенции бросить на помощь этому просвещению. Сначала свобода политическая, избавление от гнета, тормозящего культуру, а затем—свет интеллектуальный. Власть же принадлежит всему народу, и он сам должен избрать ее формы. Подумайте, дорогие товарищи, какие новые горизонты в научной и социальной мысли могут открыться, когда вместо одного—двух каких-нибудь миллионов интеллигентных единиц, их соберется сто, полтораста миллионов! Сколько Ньютонов, Дарвинов, Марксов дремлет, может быть, теперь в этой толще... Право народа в том, чтобы решать свою судьбу и управляться без всякой указки... Наше дело только расчистить ему дорогу...

— Борис Иванович... Очень извиняюсь, господа—вежливо вмешался подошедший Бодров. — Так что Ферапонтыч сказал — поверка идет... Сам помощник сейчас будет.

— Значит, быть по сему,—засмеялся Сосновский.

— Идите, идите, Сосновский! Как бы репрессий не было! Времени будет достаточно... Поговорим еще.

Товарищи на ходу поспешно пожимали ему руки.

— А насчет деревенских Марксов и Дарвинов я совершенно не согласен с вами...—кричал вдогонку ему Штернберг.—Ну, после, после!

— Подробности процесса своего не досказали, Сосновский! До свиданья! Не унывайте, товарищ!—долетел до него последний возглас, когда он поспешно входил в двери барака.

— А знаете что? Пойдемте у костра посидеть на воздухе,—обратился Сосновский к своему соседу, когда поверка уже кончилась, и староста с трудом зажег мизерные лампочки, болтавшиеся под самым потолком.

— Пойдем? А? И черкесов прихватим.

— Ишь, выдумщик!—покачал головой Тиманов. — Холодновато, поди... Ну, да выйдем уж. Посидим часок. И я вольную

волюшку вспомню. Любил я так-то вот в степи у огонька посидеть. Только тепло у нас на Кубани... Завернешься, бывало, в бурку и спишь, как дома. А здесь... Одно слово—Сакàлин!

Черкесы тоже одобрили затею Сосновского, и всей компанией они вышли на двор.

Почти совсем стемнело.

Ветер стих, но черные тучи тяжелыми массами громоздились на небе.

Узкий серп луны нырял в них над вершинами горных хребтов; и при этом неверном, мигающем свете они то тускло белели нестаявшим снегом, то закрывались пологом ночной тени.

В лощине, сбегающей от их подножья, теплыми искрами краснели огоньки поста Александровского.

А с другой стороны, близко-близко, — как будто на самый барак навалилась, — нависла черная громада «Верблюда», и рядом с ним море, темное и холодное. С плотным, ритмическим стуком хлопал длинный тяжелый прибой у самой стенки здания и с шипеньем и шорохом снова уползал в темную бездну.

Вот и костер.

Услужливые черкесы натаскали целую гору сухих сучьев для запаса и одобрительно защелкали языками, видя, как быстро загорелся сушняк всего от одной спички в умелых руках Сосновского.

— Однако, вы — мастер! Охотник должно быть? — похвалил его Тиманов.

— И охотник, да и так по лесам не мало скитался. По Финляндии колесил, к Белому морю ходил, повидал дебри и Олонецкие, и Архангельские... с детства любил я это. Привык. Теперь нелегко будет в тюрьме, когда кругом и леса и горы...

Сосновский завернулся в халат и присел у костра, сложив под рукою пачку бересты на случай, если попадутся сыроватые ветки.

Черкесы пристраивали чайник.

— А чего-ж вы искали там, по дебрям этим? К Белому морю! Это—не шутка!

— Искал чего? — усмехнулся Сосновский удачному слову.— Воли искал... Душу народную искал. По селам косил с народом... и вечером со стариками возле кузницы сиживал; по скитам раскольничьим бывал и с рыбаками в море ходил...

— Ну, и что же?—оживился Тиманов, сидя на корточках и попыхивая трубкой.—Нашли душу-то?

— А вот слушайте сказку; по слову короткую, а по мысли очень и очень длинную.

Жил-был один рыцарь; и потерял он свои боевые рукавицы, а где—не помнил. Заветные рукавицы, дедовские. Вот сел он на коня любимого и поехал по всему свету искать. Три года ездил, брони боевой не снимая. Не нашел и домой воротился. Стал раздеваться... Глядь! А рукавицы—у него за поясом.

— Ловко!—сказал Тиманов, рассмеявшись.

— Так, значит...

— Так, значит, душа-то народная во всяком из нас. И искать ее нечего.

— Совершенно верно. Все мы—народ. Все! И душа одна, общая! Всех к одному тянет: к свету, к свободе, к счастью.—Это вы правильно, Борис Иванович. В самую точку, как есть, угодили. Только не всяк ее, броню-то эту, сам с себя снять может, да не всяк и догадается.

— Конечно. Зато, кто догадался, того прямая обязанность и других научить. А свободная душа сама к счастью дорогу найдет, только знание дай.

— Ну, насчет этого трудно с нашим братом. Без палки хорошей никак не обломаешь. А вы так не сумеете; то-есть, братия ваша, понявшие-то. Вы цацкаетесь все... А это — нейдет. Помню, в нашей станице учительша: «Деточки, да деточки! Милые да милые!» А деточки на голове стоят и в игрушки с ней играют, хороводы там и прочие глупости. Я, значит, раз об'яснился с ней насчет этого. Так что-же думаете? — Я, говорит, приучить их сперва к себе должна. Они, говорит, полюбить меня должны наперед, тогда и ученье на-лад пойдет. — Ну, это не модель, думаю. Полюбить! А? Ну, разве они что понимают? Нет, вот я, помню, учился в школе нашей станичной. Учитель, бывало, входит, а у тебя вся шкура дрожит, и волоса дыбом! Вот это—да! Это учитель.

Сосновский невольно расхохотался, и очарование задушевной беседы исчезло.

— Кунак! Тшай пить будэш?—спросил старик черкес, глядя, как Ахмет, перехватывая то одной, то другой рукою горячую дужку чайника, снимал его с костра и ставил на землю.

— Будем, будем, кунак!—весело крикнул Тиманов.

— Только айда до хаты, а то здесь—бр-р!

Заметно похолодало.

Тучи стали оседать по краям горизонта, и звезды тускло светились сквозь тонкий туманный полог; с реки шел он слоистыми свитками; там слышен был приглушенный треск и шорох оседающих льдин.

Поста Александровского не было видно, и только своеобразный, с подвываньем, лай собак указывал на его существование.

— А какие все они приветливые! Как радостно встретили!—думал, засыпая на своем убогом ложе, Сосновский. Только издерганные какие-то. Один Штернберг чего стоит! Да и Бражников не лучше. Мейсснер, Кузин, Бугайский...—вспоминал он фамилии товарищей.—Последние двое лучше других выглядят, спокойнее как-то. Одичали только будто немного. Должно быть—таежники... А Сергея так и нет в бараках... Его трюм четвертый. Ну, значит, завтра...

Глаза его стали слипаться, и он заснул крепким, спокойным сном молодости, всегда чуждой каких-либо страхов и опасений.

Смутными пятнами светились вверху чадящие лампы. В полумраке огромного сарая слышен был храп и сонное бормотанье трехсот человек, утомленных, издерганных.

Их серые, скорченные фигуры почти сливались с общим колоритом картины, унылой и жуткой.

В большие нелепые окна,—какие-то квадратные, со множеством переплетов,—неотступно смотрела холодная, черная ночь.

ГЛАВА V.

Гулко ударила пушка, стоявшая между губернаторским домом и церковью.

Круглый, массивный звук перекатился через реку, шлепнулся в горный кряж и, повторяясь многократными отголосками, затерялся в его распадках.

Ершова вздрогнула и оглянулась.

— Полдень. Сейчас кандальные пойдут на обед с работы,— сердце ее сжалось.

— Из рудника!

Поднявшись со скамьи, она с тоскливым напряжением стала вглядываться в черневшее издали отверстие.

В этой ли партии Борис, она не знала наверное; но рудничные работы считались самыми тяжелыми.

А еще вчера Сергей Николаевич проговорился о секретной инструкции от Муравьева, который приказал не оказывать Борису никаких послаблений и ни в чем не отличать его от уголовных, посылая на самые тяжелые работы.

За что? Она знала, что это—распоряжение Муравьева, всесильного начальника департамента полиции, товарища министра внутренних дел.

Потому что, когда к Борису в сырой и темный каземат Трубецкого бастиона явился этот сытый, украшенный звездами человек и склонял его к предательству, искушая всякими благами, вплоть до амнистии, Борис обругал его и чуть не ударил.

И вот результаты... Там, в Петропавловской крепости, кошмарный месяц в подземном карцере; его оттуда вынесли в бреду и без чувств; а здесь... здесь еще все—впереди...

Губернатор—царь и бог здесь. Он многое мог бы сделать, но он, конечно, получил от Муравьева соответствующую строгую инструкцию.

— Что же кандальные не идут?..

Пыльной лентой протянулась пристанская дорога. Ветер уныло воет в мокром, засоренном лесочке и качает вершинами тощих лиственниц.

Низко-низко нависло серое небо.

— Арестантский халат—с грустью подумала она,—какая тоска!

Вчера утром у ней было свиданье с Борисом. Сергей Николаевич дал ей записку о пропуске, а доктор Ларов провел с собою; он шел в тюремный околоток.

Какой ужас—кандальная!

Она до сих пор не может опомниться от этого кошмара.

День был воскресный, и огромный двор кишел народом; серые бушлаты, полу-обритые головы и этот переливчатый звук кандалов... Не звон, не бряцанье, а что-то среднее... беспокойное, проникающее в каждый фибр души... и тоскливо-протяжное в своем бесконечном, переливчатом повторении.

Никуда не уйдешь от него...

И теперь в ее музыкальном ухе стонет и плачет он своей потрясающей мелодией.

И среди всего этого ужаса Борис, веселый, смеющийся,—как он может?..

И у него на ногах цепи...

Едва нашла она его среди всей этой сутолоки.

Окруженная тесной толпой любопытных, зашла в один барак, спросила Сосновского—никто не знает.

— Да вам кого, милая? Ишь, голубка какая к нам залетела беленькая!—добродушно смеялись каторжане. И хорошие, ласковые нотки слышались в грубых, простуженных голосах.

— Сосновского, политического.

— А! Политического? Так бы давно сказали. Во втором корпусе он. Туда идите. Молодой такой... Последнего «сплаву»... Как-же, как-же, знаем...

Провожавший ее надзиратель, не успевший еще ориентироваться среди массы новоприбывших каторжан, проворно провел ее во второй корпус. И там, в крохотной, тесной надзирательской, в конце длинного коридора, со слезами тоски и счастья, наконец, обняла она своего Бориса.

Нервная спазма сдавила ей горло при этом воспоминании.

Нестройный гул голосов и кандальное лязганье внезапно вырвались к ней из-за поворота дороги.

Ершова вскочила.

Вот идут они, покрытые угольной пылью, усталые, потные... Лица в черных разводах... Человек пятьдесят... И кругом солдаты... И на ногах кандалы... Опять эти кандалы... Звенят... переливаются, плачут.

Прижав руки к сердцу, тоскующим взглядом впивается она в эту толпу.

Она-то узнает его... Сердце подскажет... И он бы крикнул ей...

...Нет Бориса...

Прошли. Клубами вздымается пыль под усталыми ногами. Ветер относит ее косым треугольником... Вот свернули на мост... Исчезли.

Оборвалось что-то в груди. Без сил опустилась она на скамейку, глядя на серую ленту дороги и не замечая, как горячие слезы одна за другою бегут по щекам и тяжелыми, крупными каплями падают к ней на колени.

Однако, что же она делает? Сидит здесь! Надо идти. Турские, наверное, ждут к завтраку и беспокоятся.

Она встала и медленно пошла по дороге.

— Бориса все равно не увидишь теперь... Должно быть, попал в другую партию, в тайгу за бревнами... Ему нравится эта работа.

Он рассказывал, что при навыке можно «ловчиться» и попадать на работы—какие хочешь.

Надо быть только в хороших отношениях с Иванами, а те все знают... У них какие то «шуры-муры» со старшим надзирателем Семенычем—«полоротым», как прозвали его каторжане; у него вечно разинутый рот и растерянный вид.

Борис ей показывал его...

Утром на раскомандировке он назначает выстроенные на дворе партии:—эта в рудник, эта под бревна, эта на дорогу и т. д.

Полоротый до смерти боится тюремных Иванов и заранее выдает им весь план раскомандировок. Все это Борис со смехом и шутками рассказывал ей во время свидания.

У него там уже целая масса друзей и знакомых, а всего прошло каких-нибудь две недели.

Хорошо, что он такой общительный, так любит людей и верит им...

Все смеется, говорит про себя:—«И щуку бросили в реку». Находит, что среди каторжан очень легко вести пропаганду... Они разойдутся потом по свету и везде разнесут его идеи.

С каким увлечением толковал он ей об этом!

А она?.. Ей страшно за будущее...

Кругом так много холодных, черствых людей. Найдутся предатели и... будет еще хуже, чем теперь.

— Что же вы, голубчик, запропали?— ласково встретила Турская входящую в столовую Ершову. — И глазки опять заплаканы?! Обидел вас кто-нибудь? Где вы опять были? Что? На пристанской дороге? Одна? Да вы с ума сошли, деточка, разве можно одной в такое пустынное место? — набросились на нее со всех сторон.

— Да что вы, братцы, напали на нее в самом деле?—смеясь, вступилась высокая стриженая девица с размашистыми жестами и громким, полумужским голосом.

Несмотря на грубоватую внешность и резкие манеры, Марья Степановна Ларова была добрейшая душа, вечно по-горло занятая каким-нибудь делом либерально-филантропического характера.

Теперь она заведывала приютом для детей ссыльных в деревне Корсаковке, и дело шло как нельзя лучше. Под ее руководством

ребятишки учились там грамоте, различным ремеслам и рукоделиям, души не чая в своей воспитательнице.

Не хватало лишь одного: такой же, как она сама, преданной делу идейной помощницы.

То-есть, помощники были, конечно, как и полагалось по штату, но все не то, чего ей хотелось.

К Ершовой Марья Степановна присматривалась уже с первого дня знакомства, еще на пароходе, куда она, как и все почти Александровские обыватели «свободного состояния», приехала за покупками беспошлинной бакалеи и гастрономии.

Невеста политического, добровольно пришедшая за ним в ссылку! Что-то некрасовское, поэтично-гражданское... Такая девушка не может быть узким человеком, с обывательскими горизонтами.

И Коля с самым теплым чувством отзывался об этой девушке. С ней он познакомился у Турских и долго беседовал на самые разнообразные темы. А отзыв брата Марья Степановна ценила очень высоко.

Как просвещенный и гуманный врач, он вечно был на ножах с вавилонским сатрапом, губернатором, и со всей сворой сахалинских казнокрадов и картежников. Если он не примыкал открыто к людям радикального лагеря, то он всегда об этом говорил, как бы извиняясь.

— Видишь ли, Маша!—говорил он ей после беседы с кем-то из политических.—Люди чересчур радикального направления кончают всегда, и притом очень скоро, тюрьмой и ссылкой, где им остается только будирование и... самопожертвование. Я же, по совести сказать, не имею сил на это. Кроме того, по мере сил, я бы хотел быть полезен по специальности. Ты, ведь, сама знаешь, что за люди идут на Сахалин из чиновничьей среды: семьдесят пять процентов самых отпетых казнокрадов и негодяев... Но ведь ты знаешь, что я не принадлежу к их числу, ты знаешь, что я отношусь к арестанту, как к человеку, и стараюсь, где возможно, помочь ему. Ты знаешь, что меня здесь не любят и говорят, что я—«гуманничаю». Но я не могу не «гуманничать»,—я вижу в этом свой долг и нахожу в этом гражданское удовлетворение.

Марья Степановна обожала своего брата, думала его думами, говорила его словами, верила ему, как оракулу, и при случае не без гордости говорила про себя:—«Я—сестра своего брата!»

— Да!—думала она,—великая вещь добросовестное служение общественным интересам! Ведь если бы каждый человек, как Коля, был проникнут сознанием этого долга; если бы каждый с любовью, искренно делал выпавшее на его долю дело; старался бы помочь меньшому брату,—тогда лучше бы жилось людям и на Сахалине. А как хорошо, например, можно поставить дело с детским приютом! Тут, на твоих глазах, под твоими руками растут будущие люди;

и от тебя зависит, чтобы из них вышли полезные члены общества. По крайней мере, буду знать, что и «моя здесь капля меду есть»,—думала наивная женщина, не понимая, что в условиях суровой каторжной жизни Сахалина, где вышедший из тюрьмы на поселение ссыльный, без возможности что-либо заработать, или сам убивал за полтинник человека, или его, преодолевшего все препятствия, убивали соседи,—многие ее питомцы пойдут по той же дороге.

Мысль, что сгнила вся система Сахалинских порядков, а вместе с ними и вся система русского самодержавия,—еще не была осознана ею.

Сегодня она приехала к Турским со смутной надеждой уговорить Ершову идти к ней в приют помощницей.

Такая девушка не может себя чувствовать вполне хорошо у Турских, где ей делать совершенно нечего. Разве поиграть на рояле...

Но это не работа для человека, с детства почти привыкшего к самостоятельной трудовой жизни.

Кроме того, Коля по личным своим наблюдениям находит, что Турские особенно и сопротивлятся не будут, так как с переселением к ним Ершовой антагонизм с губернатором у них значительно обострился.

А сама Ершова нравилась ей все больше и больше.

Вот хотя бы теперь.

На нее напали—зачем одна ходит по таким пустынным местам, где каждый встречный может ее обидеть. И где же? на Сахалине? В стране квалифицированных злодеев и преступников!

— Да ведь любой из них пристукнет вас там в лесочке, как котенка! И никто не услышит, не увидит!..

С какой непоколебимой уверенностью этот хрупкий полуребенок ответил на все одним только маленьким вопросом:—«за что»?

Она просто готова была расцеловать ее за это «за что». Сколько простой, жизненной правды в нем было и сколько хорошего доверия к людям!

За что, действительно, покусился бы кто-нибудь на жизнь ее? За то, что за любимым человеком она пришла к ним в каторгу?

— Ведь вся тюрьма знает об этом. Не каждый день случаются здесь такие истории!—горячилась Марья Степановна.

— Нет-с, позвольте! Вы плохо знаете эту публику!—возражал с усмешкой полицеймейстер, покручивая усики и бросая томные взгляды то на хозяйку, то на ее молоденькую гостью.

Положительно, он не знал, которой отдать предпочтение. Очаровательная, остроумная Елена Александровна была его давнишней пассией, и, как верный паж, он во всякое время готов был,

выражаясь, конечно, фигурально, «умереть у ног своей властительницы».

По праву старой дружбы, она даже называла его не иначе, как «мой Петруша».

Но эта девушка... Ах, чорт возьми, какие глаза! Это бездна какая-то! И сколько огня и силы в ее музыке... Должно быть, целый вулкан страсти дремлет в ней... Вот бы разбудить... Мне, например! А то достанется чорт знает кому, мальчишке какому-то, фанфарону... Мир перевернуть захотел... Выдрать-бы хорошенько... Он и оценить-то ее не сумеет, как женщину...

Такие, слегка фривольные мысли частенько стали посещать полицеймейстера за эти две недели знакомства его с Ершовой, и он начал находить значительное удовольствие в предписании губернатора «последить за приезжей барышней».

Впрочем, побаиваясь едкого остроумия своей «повелительницы», он вел атаку весьма осторожно.

Просто поиграть да и бросить тут нечего было и думать. Слишком на виду у всех барышня, да и, кажется, не из таких, с которыми «играют». А жениться... Гм... на этом самонадеянные мечты полицеймейстера пока замирали, не давая определенного ответа.

Метнув, однако, неотразимый взгляд в сторону Ершовой, он выпятил грудь колесом и с покровительственным видом знатока тюремного быта начал «с фактами в руках», как он любил выражаться, разбивать всю эту «идеалистику» и «гумановщину».

— Вот вы, Ольга Михайловна, говорите:—за что? А вы, Марья Степановна, утверждаете, что в этих отбросах общества есть еще какие-то человеческие чувства и соображения, уважение, там, к светлой личности и т. д. Все это, простите меня, бредни Незнание этих гадов!

— Как бредни?—вскипела Марья Степановна.—Да позвольте, Петр Кириллович...

— Нет, уж вы позвольте, Марья Степановна! Идеализировать можно что угодно, а вот вам факты. Не дальше, как в позапрошлом году, в той самой деревне Корсаковке, где вы изволите приютом теперь заведывать, была вырезана целая семья своего же брата, ссыльного поселенца. Отцу и матери просто размозжили головы топором, так как они, видимо, защищались; а мальчика десятилетнего истязали. Распяли его на стене, прибив руки и ноги гвоздями, и рвали кожу раскаленными в печке клещами. Все добивались, где спрятаны у родителей деньги. Он так и на кладбище похоронен; на кресте над могилой этот самый молоток, клещи и гвозди прибиты. Изволили видеть? А и денег-то никаких не было; взяли халат да пару подушек и ушли. Девочка лет семи жива осталась; успела в сенях спрятаться за дверью, пока грабители отца убивали; а затем в огород выскочила; ее чуть

живую, в горячке уже утром подняли. Вот голый факт. Что вы на это скажете? Куда тут романтизм свой пристегнете?

— Романтизм тут пристегивать, конечно, не к чему,—вмешался хозяин: — но для полного освещения факта следует добавить, что семья эта вела тайную продажу водки, разведенной и настоенной на махорке и всякой дряни; сбывала частенько на базаре из-под полы бутылки с чистой водой за казенной печатью, вместо спирта... и на них тюремные Иваны давно косились... Конечно, зверство... Такая расправа! Но... вопрос:—«за что».—находит здесь свой ответ. Как вы думаете, Ольга Михайловна?

— Я... я не знаю. Это такой ужас! — с содроганием промолвила побледневшая Ершова, прижимая руки к вискам. — Ребенка распять... Гвоздями... За ручки, за ножки... Рвать щипцами тело... Это... Этого я понять не могу! Он так и умер под пыткой?

— Вскрытие установило, что умер он от потери крови, не скоро. Девочка показала, что грабители ушли через час приблизительно, а она сначала боялась идти в хату, а потом потеряла сознание от страха и холода. Как залезла между гряд, так там ее и нашли чуть живую. А мальчика утром нашли уже мертвого. Висит на стене, как распятие, весь в крови, и головка на плечо опущена... — интересничая потрясающими подробностями, говорил Ипатов.

— Да замолчите-же, Петруша! Ну, можно-ли такие вещи рассказывать!—со страхом и отвращением воскликнула Елена Александровна.

— Повинуюсь, повинуюсь, божественная! Но сознайтесь, что гуманничать с такой публикой и ждать от нее каких-то человеческих чувств тоже странно, если не сказать больше.

Спор возобновился.

— Нельзя же так всему населению каторги огулом навязывать роль каких-то псевдо-классических злодеев! — горячилась Марья Степановна. — У вас тоже получается романтизм... И еще более фантастический, чем тот, который вы мне приписываете...

— Да я...

— Нет-с, позвольте! Дайте договорить... Ваш романтизм отрицательный и потому скверный, недостойный человека развитого... И нет у меня, собственно, никакого романтизма, а самая трезвая гуманность!..

— Да я именно и говорю против гуманности с этим народом. Это вредно-с! Это распускает...

— Никого не распускает! Неправда! Факты вам нужны? Извольте. У Коли поваром служит каторжанин грузин Бартошвили. Высокий такой...—Знаете? Атаманом шайки был на Кавказе. Головорез отчаянный... Одни глаза чего стоят: налитые кровью, страшные; взглянет, как ножом ударит... А, посмотрите, как он с Колиными детьми няньчится! Коля с Аней другой раз

уйдут в гости и весь дом на него оставят... и ключи у него... Он и накормит детей, и чаем напоит, и спать уложит... И знаете, что говорит Бартошвили?

Все с любопытством молчали.

Марья Степановна значительно подняла палец кверху и раздельно проговорила, подражая кавказскому жаргону: «Твоя мнэ вэрил... дэтей, хозяйство оставлял, как брату... Моя вэрнэй собаки сторож будэт».—Не гуманничанье, а гуманность нужна с этими людьми, доверие к сердцу человеческому... У каждого есть сердце, и дверь туда через доверие...

— Ну, если дамы до сердца договорились, то я умываю руки и отступаюсь,—отшучивался полицеймейстер. — Мне по роду службы этого органа не полагается.

— Однако, Мерказин упразднил-таки смертную казнь на Сахалине. За все время его царствования ни одного случая не было. Это уже нечто от гуманности, — начал кто-то из дам, когда все встали из-за стола и перешли в гостиную.

Но Ершова с Марьей Степановной не слушали. Пользуясь тем, что хозяин с полицеймейстером стали собираться опять на службу, они отказались от кофе и ушли к себе.

— Ну, так как-же, дорогая Ольга Михайловна? Значит, по рукам? Вы не отказываетесь ко мне в помощницы?—говорила Марья Степановна, сидя на кушетке в маленькой уютной комнатке Ершовой и дружески похлопывая ее по ладоням.—И Вам было бы веселее на душе. Все-таки симпатичное дело и определенное положение. Да и мне облегчили бы труд.

— Что вы, голубушка Марья Степановна! Что вы! Я не только не отказываюсь, а прямо рада!—взволнованно обнимая ее, повторяла девушка.—По правде сказать, мне тяжело здесь... Знаете... Жить так и ничего не делать. Я не привыкла к этому. Занятия с Костей? Но он еще маленький... И я не умею с такими... Всю жизнь со взрослыми детьми занималась; уже в гимназии учились... И уроками музыки, главным образом.

— Конечно, конечно, голубушка вы моя! Вполне понимаю вас. Хотя и хороший человек Елена Александровна, ласковый, и расположена к вам искренно, кажется...

— Да вот в том-то и дело... Чем она ласковее, тем мне тяжелее. Чувствую себя обязанной отплатить ей за все и—нечем!

Она задумчиво поникла головой, и длинные ресницы опустились, как два маленьких черных веера.

— Ах вы, моя прелесть!—не удержалась Марья Степановна, бросаясь опять обнимать ее. — Да разве ей нужна ваша плата? Она и так знает, что в Вашем сердечке ничего быть не может к ней, кроме самой теплой благодарности.

— Ей-то не надо, — серьезно сказала Ершова:—да мне-то самой надо. Я не привыкла ничего брать даром. Сама давала

даровые уроки... Были случаи, когда дети бедные, но талантливые... Но чтобы взять что-нибудь у другого даром... это я не могу.

— Ну вот, видите, хорошая моя, вы и неправы. Отчего же и не взять того, что предлагается искренно, хотя бы и без платы, если сами поступаете так же с другими? Вы не хотите себя поставить на их место. Ведь им тоже тяжело, может быть, и обидно принимать от вас бесплатный труд.

— Нет, нет!—замахала на нее обеими руками Ершова.—Что вы, Марья Степановна! Они нисколько не обижались, а, напротив, всегда были так рады, так рады заниматься со мной музыкой. Ведь это совсем, совсем другое дело. Там и я и они вместе трудились для искусства. И для меня было наслаждением видеть, как развертывается талант. Такие уроки уже сами по себе есть плата.

Марья Степановна только покачала головой и рассмеялась.

— А как смотрит на это ваш Борис... Борис...

— Иванович,—подсказала Ершова. — О! Совершенно одинаково. Он еще в Петербурге, когда студентом был, раздавал бедным товарищам свои деньги, а сам в академию бегал в летнем пальтишке,—оживилась девушка. Отец его, знаете, уехал в Туркестан и оставил его хозяйничать. Домик у них был свой на Выборгской стороне, деревянный, в два этажа и с жильцами. Там жильцы почти никогда не платили; а кто и платил, так деньги в тот-же день коммуной тратились. Там у них товарищи жили и конспиративная квартира была для сходок,—с таинственным видом шепнула Ершова, наклоняясь к своей гостье.

— Ну вы, братцы, должно быть одним миром мазаны, — смеялась та, глядя на оживленное личико девушки. — Придется, должно быть, под надзор вас взять, а-то вы здесь с голоду перемрете.

Добрейшая Марья Степановна серьезно считала себя очень практичным человеком.

Ей даже в голову не приходило, что, посвящая дни и ночи возне с несколькими десятками чужих ребятишек за грошовое сравнительно вознаграждение, она сама недалеко ушла от тех бесплатных уроков музыки, за которые так пробирала свою собеседницу.

Однако, пререкания продолжались недолго. Ершова об'явила, что бескорыстная работа доставляет ей в этих случаях такое удовольствие, которого не купишь ни за какие деньги, а заработок... Во-первых, у нее всегда были два три-урока «в хороших домах», где ей платили столько, что хватало и на жизнь, и на роскошь, в виде бесплатных занятий. А во-вторых, сил у нее столько, столько, что... хватит на все.

— Я привыкла работать и не боюсь жизни.

— Вы знаете, Марья Степановна,—смеясь рассказывала она, — мы жили втроем; три сестры: Вера, Маруся и я. Маруся еще

кончала гимназию, Вера ходила на высшие курсы, а я в консерваторию; мы с Верой еще давали уроки. Бывало, в кассе несколько копеек, а до получки за урок остается еще неделя. Вот мы сидим и думаем: хорошо, что за комнату заплачено!

— Ах вы бедненькие! Ну, и что же?

— Вдруг входит Сережа, двоюродный брат мой, который здесь с Борисом, и с ним Виталий, студент знакомый. А Сергей—математик замечательный. Вот мы и предлагаем задачу—разделить двенадцать копеек на семь дней и на три человека.

— И он делит?

— Делит, а мы помогаем и, конечно, все хохочем, как безумные:—сегодня не в счет, воскресенье—обед у родителей по традиции; понедельник и вторник тоже не в счет, так как и обед там сытный, и с собой захватим булок. Вместо семи дней остается три; по четыре копейки—это совсем хорошо: каждый день можно два фунта хлеба с'едать с чаем.

— На троих?

— Так что-же? Ведь это же не всегда... А зато, когда с урока получишь, или кто-нибудь долг отдаст, тогда пир. И в концерт, и в оперу, и колбасы купим горячей, и сосисок, и конфект...

— Так и жили?

— Так и жили, а что же? И по-моему, это гораздо практичнее, чем копить деньги и распределять их с немецкой аккуратностью на целый месяц: обеды в кухмистерской—столько-то—отложить; чай, сахар, булок—столько-то—отложить. Нет, это невозможно, и скучища серая, и катарр наживешь не только в желудке, а и в голове; такое однообразие!

Марья Степановна только головой качала.

Затем обе практичные женщины уселись составлять «докладную записку» на имя начальника округа о принятии на службу в приют Ольги Михайловны Ершовой.

Прошло еще около трех недель. Наступил июль месяц. Даже на самых высоких вершинах Пиленги снег совершенно стаял, а по чахлым лесам предгорий, сплошь заросших высоким камышом, стояла страшная сушь. Довольно было одной спички, чтобы все это обратилось в сплошной костер пламени.

И действительно, выжигая сухой камыш, чтобы дать место зеленой травке для пастбища, поселенцы не всегда могли справиться с огнем. Поднявшийся ветер брал верх над усилиями слабенькой горсточки людей, и лесной пожар охватывал тысячи десятин. Целыми днями леса курились, застилая дымом весь горизонт и отравляя воздух запахом гари.

А вечером...

— Анна Васильевна! Зиночка! Идите скорее смотреть! Какая прелесть!—кричала Ершова, стоя на крыльце квартиры д-ра Ларова и всплескивая руками от восторга.

Из открытой двери на зов ее высыпала целая орава ребятишек.

— Где, тетя Оля? Где? Что такое?

Зина, Степа, Сережа, Лида, от 10 до 3 лет, окружили девушку, вешаясь на нее со всех сторон и роняя на скамейку, устроенную на пространном крылечке.

Самый младший, Павлик, еще не умевший ходить, застрял в дверях и орал благим матом.

Ершова смеялась, барахтаясь среди насевших на нее ребятишек, и видно было, что детишки ее любили.

Сидевший на соседнем крыльце отец благочинный добродушно улыбался, глядя на эту сцену.

— Это что такое опять? Опять тете Оле надоедаете?—с притворной строгостью прикрикнула, выходя из двери, среднего роста худощавая дама в темном платке, с засученными рукавами.—Марш по местам! Степа, Сережа, кончать уроки! Лида, возьми Павлика! Ну-с!

Детвора мигом рассыпалась.

— Вмешательство покровительствующей державы на сей раз избавило вас от нашествия буйных племен, — забасил священник.— Здравствуйте, Анна Васильевна! Ну-с — хорошо-с! Добрый вечер, Ольга Михайловна.

— Ах, это вы здесь, отец Александр? Здравствуйте, здравствуйте!

— Полюбоваться вышли? Истинно, картина феерическая, ну-с— хорошо-с, пожару древнего Рима при Нероне подобная.

И действительно, картина была поразительная.

Легкий дымный туман, как завесой закрывавший днем вид на горные хребты, теперь вечером нисколько не мешал видеть красневшие в темноте костры горящих деревьев.

Грандиозным полукольцом охватывали они пост Александровский почти по всему горизонту.

Начиная от ближайших террас, сплошь заваленных сушняком старых порубок, живыми трепещущими языками вздымался этот огненный амфитеатр на многие версты, до самых высоких предгорий.

Местами огненные ленты взметывались на горный массив и сказочными драконами ползли туда по ущельям.

Казалось—фантастический город колоссальных размеров сияет и весь трепещет там нервной, кипучей жизнью.

Вот ясно видны чудовищные кварталы Нью-Иоркских небоскребов; сорока-этажные дома залиты светом из тысячи окон.

Острыми иглами вырываются среди них ярко-желтые факелы, как древние обелиски.

Залитые светом лампионов, высятся друг над другом висячие сады Вавилона... А вон бесчисленными кострами сияют ступени

Египетских пирамид... Какие-то храмы, арки, колонны; гирлянды невиданных красных цветов и огненные красные змеи; мириады искр и пол-неба охватившее зарево, багровое, тяжелое.

— Какая красота!—шептала Ершова, прижимая к себе свою любимицу Зиночку и плотнее подвигаясь к Анне Васильевне.

— Красиво-то оно, правда, красиво; а леса-то все-таки жаль,— возразила та, покачивая головой.—Подумайте, сколько его сгорит зря!

— Да и посельям угрожает опасность, — добавил, подходя к ним, отец Александр.—Вы разрешите к вам присоседиться?

— Посельям? Вы что-нибудь слышали, батюшка?

— А как же? «Красный-Яр» два раза уже загорался. Под землею торф тлеет, тлеет; добрался до села, ну-с, хорошо-с, вздуло его ветром, и пошло полыхать. Сегодня команду послали канавы копать кругом.

— Ну, и что же?

— Да ничего; отстояли. А все—нехозяйственность наша, ну-с, хорошо-с; нежелание мозгами пошевелить заблаговременно. Да и можно-ли ожидать чего нибудь путного, когда Авдотья островом управляет, ну-с, хорошо-с, а генералом своим, как старой туфлей, вертит?

— Да ведь он-же интеллигентный человек! Как же может простая женщина так вертеть им?—с недоуменьем протянула Ершова.

— Ах, вы, младенчик мой милый! Вот поживете, ну-с, хорошо-с, побольше—узнаете, как это делается. То-ли еще на свете бывает, ну-с, хорош-с! Вы как думаете? Почему сатрап наш от места в приюте вас отрешил?

— Не знаю, право... Просто сидели мы однажды с Марьей Степановной и с детьми старшими; она им рукоделья какие-то показывала, а я вслух «Капитанскую дочку» читала. Вдруг бумага... читаем:—от должности помощницы отрешить, так как летом школьных занятий не производится, а приют—не гостиница для приезжающих.

— Так и написано?

— Так и написано, или что-то вроде этого; последнюю фразу я, по крайней мере, хорошо запомнила, так как она меня очень обидела. Никогда я не смотрела на приют, как на гостиницу, а, напротив, всеми силами... За что же такое отношение? Что я ему сделала? Я его и в глаза-то никогда не видала.

— Да вы-то, конечно, ничего не сделали дурного. И он сам это прекрасно понимает, ну-с, хорошо-с; а просто попали вы между молотом и наковальней. Генерал за Еленой Александровной приударить хотел, а она его, как здесь говорят, отшила. Вот и начало вражды, ну-с, хорошо-с, между сими Монтекки и Капулетти. А тут вы. Ну, значит, на вас и отыгрался генерал, по самолюбию Сергея

Николаевича ударил. Ведь тот вас на место в приют-то определил?

— Да. Я ему подавала прошение, и Марья Степановна тоже—докладную записку.

— Вот, вот! А тайная-то пружина, ну-с, хорошо-с, Авдотьюшка генеральская; от нее все качества. Уж вы поверьте мне, уважаемая! Я эту механику отлично хорошо изучил. Вот-с где она сидит у меня.

И рослый отец Александр с силою стукнул себя по могучему загривку.

Сведения он получил от своей попадьи, а попадья от своего повара, а повар от генеральского повара, а тот от вестового, а вестовой клялся и божился, что «собственными ушами» все слышал, сидя в генеральской передней.

Так пишется история.

На самом же деле произошло вот что.

Бледное, полудетское личико и черные, мерцающие глаза с пушистыми ресницами все больше и больше влекли к себе полицеймейстера.

Целую неделю не был он у Турских, по горло занятый раз'ездами. Но и в самый разгар служебной работы, когда, сидя в какой-нибудь избе вместе со смотрителем поселений, строчил он протокол о найденном мертвом теле, неотступно витал над ним дразнящий образ, и, забывшись, неумелой рукой чертил он на полях деловой бумаги огромные глаза с длинными тенями ресниц и нежный овал девичьего личика.

— Это что же изображать должно?—спрашивал смотритель поселий Гуер, огненно-рыжий, смешливый чиновник, нагибаясь над протоколом.—Подводные лодки или два карася на тарелке?

— Сами-то вы карась на тарелке! — с сердцем восклицал полицеймейстер, зачеркивая неудачное свое произведение. — Это, батенька, глаза! Такие глаза, которым...

— Которым нет подобного в природе? Эге, батюшка! Вон оно что! Так в чем же дело? Две-три записочки на спирт—и глаза эти—ваши. Сожитель у ней есть? На каком она поселье? Или в посту, может быть?

— Какие там записочки... И сожителя нет никакого.— Убирайтесь вы с глупостями! Все равно—не скажу.

— Так вы серьезно это? Жениться, что ли, задумали? На ком это? Ба-ба-ба! Зна-аю, теперь. Невольная эта, приезжая? Как-ее, Ершова. Да? Ну что ж! Бабец невредный. Совет да любовь!

— Да ну-вас совсем. Подписывайте лучше протокол, да и ехать пора.

Пожиратель женских сердец сам теперь был ранен и, отбрехиваясь то шутками, то дерзостями от любопытствующей холостежи, все-таки чувствовал себя прескверно.

На что он мог надеяться?

О соблазнах, так сказать, внешних, в роде подарков, обещаний и т. под., нечего и думать.

Умственный багаж его весьма невелик, а нравственный и еще того меньше.

В глубине души, самому себе, он, хоть и с яростью, но должен был в этом сознаться.

В этом не выдержать ему конкуренции с Сосновским: все преимущества на стороне этого мальчишки.

— Устранить его... Это не трудно, собственно; здесь за десятку кого угодно пришьют... но... ведь я даже не говорил с нею толком. Да и чорт их знает, что их там связывает! Невеста, невеста, а, может быть, давно живут гражданским браком. Поплачет, да и уедет... А эти... еще шантажировать начнут, вымогать... Нет! Это не годится ни к чорту!

Самые несбыточные планы один за другим роились в его разгоряченном воображении, и он кончил тем, что решил поближе познакомиться с Ершовой и постараться так или иначе набросать тень в ее глазах на Сосновского. Можно и вообще распустить в публике какие-нибудь истории о нем, чтобы слух до нее дошел, не от него лично.

— Дальше увидим, что делать.

Полный таких остроумных намерений, собрался он, наконец, к Турским.

Но каково же было его бешенство, когда он узнал, что Ершова уже больше недели служит в приюте и живет там в одной комнате с Марьей Степановной!

Разом рушились все его планы, так ловко построенные!

Нет-с! Уж этого издевательства над собою он не потерпит. У него тоже есть шансы: ведь ему официальной резолюцией губернатора приказано последить за барышней.

А куда тут к чорту следить, когда она под крылом у этой «пуританки», ненавистницы всяких кавалеров, флиртов и других «радостей жизни»?

Осторожно выведав все подробности этого «камуфлета» и убедившись, что все сделано одной властью Сергея Николаевича, он, не досидев до ужина, полетел прямо к «Авдотье».

Еще днем в канцелярии он узнал, что губернатор в Рыковском, и ждут его только завтра.

Времени более чем достаточно, чтобы настрочить почтеннейшую Евдокию Петровну.

И он настрочил, не учтя лишь одного—тонкой наблюдательности своей собеседницы и присущего ей недоверия к людям.

— Что-то ты егозишь много, сокол мой ясный!—думала про себя Евдокия Петровна, глядя, как распинается перед нею полицеймейстер. И долг службы... и ручки целуешь... и рогативы его пр-ва какие-то приплел! Знаем мы эти рогативы! Просто выдернуть

хочешь девчонку из-под защиты, чтобы... А-а! Во-от оно что-о! А вдруг, голубчик мой, уговор у вас? Не зря мой-то уехал, как будто и в стороне его дело, а этот сюда—меня настрачивать. Оч-чень просто! Устроят ее где-нибудь, и начнет мой к ней похаживать, а там... там и меня по-боку, а эту... Ну, нет, голуби мои! Этот номер не пройдет у вас, не пройде-ет! Всех на свежую воду выведу!

— Спасибо, спасибо, Петра Кирилыч, что упредил меня!— запела она, пожимая руку Ипатова на прощанье и опуская глаза, чтобы скрыть насмешливый огонек в них. — Спасибо. Все доложу в точности его пр-ву, как вернется; и от себя прибавлю кое-что. Хоть и дурная у меня голова, известно-баба необразованная, а все же смекаем кое-что по малости. Да вот сам, чай, увидишь, как все дело обстряпаю. Доволен останешься Прощай, прощай, соколик! Спасибо, родной!

Утром вернулся губернатор, усталый после 60-верстного пути на лошадях и раздраженный. Тюрьма там распущена до-нельзя, а эти политические—положительно из рук вон.

— В кацеляриях они, на мельницах они, в мастерских тоже; и механики, и юристы, и чорт знает что; и вид у всех такой независимый... Чиновники мои так не держатся при мне, как эти... Нет, положительно, права моя Авдотья! Надо приструнить эту банду, да и Турскому тоже пора указать его место.

Заряженный таким образом, генерал вышел к завтраку туча-тучей, и только вид любимых им жареных цыплят и бутылочки с нежинской рябиной смягчил его пасмурное настроение.

Такое внимание строгой и расчетливой экономки тронуло всесильного владыку острова, и, затыкая углы салфетки за воротник, так, чтобы прикрыть роскошную бороду, он уже совсем ласково принялся расспрашивать о новостях.

Усыпив бдительность своего повелителя, Евдокия Петровна, после разных более или менее невинных сплетен, вдруг разом бухнула, впиваясь в глаза генерала:

— А Ипатов, Петра-то Кирилыч, из приюта хочет Ершову выхватить; должно, виды на нее имеет. Так пел тут без вас, так пел, ну, что твой соловей.

— Какую Ершову? Из приюта девочку? Ипатов? Что ты мелешь?

Генерал чуть не подавился цыплячьей косточкой и, недоумевая, глядел на экономку.

— Не знает, или притворяется?—мелькало в голове Евдокии Петровны. — Пожалуй—не знает... Хотя... хотя, ох, какие ловкачи эти мужчины, когда дело до зазнобы коснется!

— Да и не девочка вовсе, а эта приезжая; невеста-то политического! Ершова ведь ее фамилия.

— Ну!—еще более недоумевал генерал:—Я и забыл совсем. Ведь я и в глаза еще ее не видел... Как же в приют-то она попала? Зачем? И при чем тут Ипатов?

Евдокия Петровна начала рассказывать, а генерал только головой покачивал и забыл даже выпить вторую рюмку рябиновки, вникая во все ее дипломатические соображения.

— И знаете что, Владимир Дмитриевич, вы сделайте?—пустила она в ход последний козырь, которым думала разом всех вывести на свежую воду.

— Ну что, что такое?

— А вы не только напишите приказ, как хотели, чтобы, значит, оттуда ее убрали, потому приют не гостиница для приезжающих, а еще...—Тут она опять впилась глазами в окруженные мешками и морщинами глаза генерала.

— Ну, ну! а еще...—подгонял тот.

— А еще прикажите ей или сейчас же выходить замуж за своего предмета, или с острова долой, откуда приехала. Только смута одна из-за нее. А тут, как женой каторжного сделается, так не очень-то фордыбачить будет, сразу спеси сбавится. И супруг законный тоже воли не даст, да и Турский почву под ногами потеряет. Пока она свободный человек, дворянка и все такое, он защиту ей вправе оказывать и в случае чего всегда обопрется на это. А как станет женой политического каторжанина, то тут-то его и подсидеть можно: в симпатиях и прочем уличить легко тогда его-то. Козыри-то у вас тогда в руках окажутся, Владимир Дмитриевич.

— Верно! Министр ты у меня, Авдотьюшка! Ей-богу, министр! совсем развеселился генерал, благосклонно улыбаясь.—Так и сделаем.

— Нет, не виновен!—облегченно вздохнув, подумала экономка.—А уж ты, Петруша, не взыщи, если мимо носа проехало. Вижу теперь, что сам нацеливался... Своя-то шкура ближе к телу.

Генерал давно ушел в канцелярию, а Евдокия Петровна все еще мысленно наслаждалась блестяще проведенной кампанией и в конце-концов даже пожалела Ершову, в которой больше не видела соперницы.

— Надо будет пригласить девочку. Бедняжка! Что это, в самом деле, облава на нее какая-то со всех сторон... И он-то, говорят, мальчик еще совсем. Эх, молодость, молодость!

И она утерла набежавшую невольно слезинку, вспоминая свою бурную юность, сгоревшую среди самых безумных увлечений и несбыточных надежд.

Все вышло как по нотам.

Дня через два в приюте была получена бумага об отрешении Ершовой от должности, а следом затем приехал сам Турский, сконфуженный и возмущенный.

С целой кучей самых сердечных извинений рассказал он ей о самодурстве губернатора; жаловался, что так служить нельзя, что он ненужен совсем, если губернатор одновременно хочет

быть и начальником округа, врываясь в сферу его полномочий... и, в конце концов, передал данное распоряжение о немедленном браке с Сосновским, или от'езде с острова.

— Что это означает и откуда ветер? Положительно теряюсь,— закончил он свою сбивчивую речь, удивленно тараща и без того круглые глазки и пожимая плечами.

На другой же день утром Ершова водворилась у Ларовых, как учительница старших детей, и сейчас же отправилась на прием к губернатору.

Против всякого ожидания, он встретил ее очень любезно и с отеческим видом пожурил за то, что до сих пор она обходила его приемную.

— Я во многом вам мог бы оказаться полезным. Все-таки я здесь кое-что значу! Хе-хе-хе!

И он рассмеялся жирным генеральским басом, поглаживая свою великолепную бороду.

— Насчет венчанья, — говорила Ершова, — я давно обратилась бы к вам за разрешением. Но ведь пост; все равно, венчаться нельзя... А вот 10 числа, в воскресенье, после обедни, если позволите...

— Пожалуйста, пожалуйста! Чем скорее, тем лучше. Знаю, что не терпится... хе-хе-хе! Только уж не прогневайтесь. Раньше законного срока мужа вашего из тюрьмы выпускать не могу-с. И рад бы, да не могу; предписание имею насчет его... Есть и повыше меня. Да! Приходится подчиняться. Уж вы потерпите как-нибудь...

Как в тумане, вышла Ершова из приемной губернатора.

— Ждать законного срока. Это значит, по крайней мере, еще 2 года.

Идя на прием, она в глубине души надеялась, что губернатор смягчится и отпустит Бориса раньше.

— Ну что ему стоило бы! Сам же говорит, что он—царь и бог здесь. А теперь... Бедный Борис! Два года в кандальной! И это после двухлетнего почти сиденья в крепости и мытарства по тюрьмам!

На все расспросы Ларовых она только горько плакала, прижавшись к Анне Васильевне.

Добрая женщина молча гладила склоненную к ней на грудь головку, и у нее самой на глазах стояли слезы.

Детишки, сбившись кучкой, робко смотрели на эту сцену.

Николай Степанович сердито сопел носом, барабаня пальцами по стеклу.

— Под-ле-цы! — проворчал он сквозь зубы и, хлопнув дверью, скрылся в своем кабинете.

А с улицы доносился печальный, переливчатый звон кандалов. Партия каторжан шла куда-то с ручными двухколесными тележками.

ГЛАВА VI.

— Сережка!

— Борис!

Друзья обнялись, потом долго смотрели друг на друга, держась за руки.

Ферапонтыч тихонько притворил дверь и вышел из надзирательской.

Ему был отдан строжайший приказ не допускать свиданий между Сосновским и Солодовниковым.

Но начальство, в лице помощника начальника тюрьмы Володи Губанова, уехало на собственном рысаке к попу-расстриге, где по вечерам собиралась вся «золотая молодежь» поста Александровского.

Старшóй Сидор «полоротый», прочитав целый акафист насчет строгого исполнения установленных правил, мирно поплелся к дому, и Ферапонтыч вздохнул свободнее, почувствовал себя господином положения.

В результате, приятное ощущение хрустящей в кармане рублевой бумажки и предоставленная друзьям для ночевки надзирательская первого карантинного сарая.

— В случае чего, в окно вылазьте, а я лучше на ключ вас закрою,—сказал он на прощанье.

Куда приятнее провести время за бутылочкой водки с приличной закуской, чем без всякого толка торчать тут в полном одиночестве.

Кстати, Щукин сегодня именинник и уж, конечно, не поскупится на угощение... А эти...

Ферапонтыч только пренебрежительно махнул рукой в сторону своих питомцев, храпевших на голом полу барака.

Бежать некуда, кругом вода, да и конвой к тому же!

— Наконец-то мы одни,—довольным тоном воскликнул Солодовников, бросаясь на постель, так что кое-как сколоченная деревянная кровать затрещала и зашаталась. — Садись, Борька, и рассказывай. Да открой окно, а то ты задушишь меня своей окаянной махрой.

Сосновский рассмеялся и бросил окурок.

И радостно, и больно было ему смотреть на своего старого друга после почти годовой разлуки.

Бедняга, как страшно он изменился!

Большая, до груди, борода, густая и темная, старила его до неузнаваемости, хотя они были однолетками.

Огромный крутой лоб, занимавший почти половину лица, казался еще больше от гладко выбритой головы. Сухой, с небольшой горбинкой нос и глубоко сидящие глаза.

В них не потух еще живой огонь остроумия, как и в речах сверкали еще блестки самого неподдельного юмора.

Обмениваясь воспоминаниями, друзья от души хохотали над бессильными стараниями врагов причинить им хоть какую-нибудь существенную неприятность.

Вне старых стен Петропавловской крепости кончалась как-будто и власть этих полусумасшедших людей.

Оказывалось, что всюду, начиная от судебного следователя по особо-важным делам, Бурцева, и кончая конвойными солдатами, надзирателями Московского замка, матросами «Ярославля», и здесь этим забавным Ферапонтычем, — всюду они встречали более или менее прикрытое сочувствие и желание облегчить им участь.

— Ты знаешь, Сергей, какие интересные беседы вели мы с Бурцевым?—оживленно рассказывал Сосновский.— Видя, что ни на какие удочки меня не подденешь и что до личного состава нашей дружины ему не докопаться, он обыкновенно бросал допрос, и тогда мы вели с ним совершенно посторонние разговоры. Как-то раз он разоткровенничался. «Вот», говорит, «и моя дочка, курсистка, увлекается какими-то сходками, брошюрами, листовками... Ужасно боюсь за нее. И когда это вы, молодежь, оставите политику и начнете учиться?»

Солодовников улыбнулся и погладил бороду гибкими пальцами маленькой, как у женщины, руки.

— Ну, интересно, что же ты ответил?

— Боюсь, что никогда не оставим... Во всяком случае, мы до тех пор не сможем учиться спокойно, пока тот строй, которому вы, г. Бурцев, служите верой-правдой, не будет сломлен.

— Молодец, Борька! Великолепный ответ. Ну и что же он?

— Да что ему сказать? Молча поник головой и только. Старик он дошлый, понял, что я—прав, и что возражать тут нечего. Постепенно от него я узнал очень многое. Меня ведь до суда целые полгода еженедельно, а то и два раза водили к нему на допрос из крепости.

— Ну нет, меня гораздо реже,—подхватил Солодовников.— Должно быть, вид у меня солиднее твоего. Ты совсем мальчишка. Вот Бурцев и рассчитывал из тебя скорее выжать все, что ему нужно. А я—одна борода чего стоит!

— «Barba non facit philosophum» (борода не делает философа) — не утерпел Сосновский, схватывая на всякий случай приятеля за руки.

Друзья со смехом схватились, и началась возня.

Только грохот опрокинутой табуретки заставил их опомниться и отпустить друг друга.

Но нет. Кругом все тихо.

Слабый свет молодого месяца расплывается в тумане. Чуть мерцают сквозь него огоньки поста Александровского, и смутно чернеет силуэт второго карантинного сарая.

— Через старика Бурцева я узнал, что по нашему делу арестовано было 16 человек, — продолжал Сосновский, усевшись на подоконник и закуривая. — Но среди них только трое наших: Васька Гусев, Александр Иванов и Степанов Николай; остальные совершенно неизвестные люди. Между ними попали даже Оля с Верой. Все они были выпущены за недостатком улик через 2—3 месяца. Топазов и все остальные успели разбежаться.

— Погоди, Борис. Неужели Бурцев рискнул на такие откровенности? Ведь это...

— Ну, конечно,—нет. Он просто показывал карточки, снятые с арестованных по нашему делу, рассчитывая, вероятно, что я, по неопытности, выдам себя каким-нибудь жестом, когда увижу знакомые лица. А и хитрый же старикан! Можешь себе представить, Сережка, что он говорил при этом? «Если, мол, среди этих лиц есть ни в чем неповинные люди, то неблагородно было бы с моей стороны не сказать этого прямо».

— Ну, а ты?

— Конечно, я начал хохотать, а потом взял лист бумаги, приготовленный для показания, и написал на нем:

«Задача для детей младшего возраста.

а+б арестованы, при чем один из них невинен.

Как узнать, кто виновен, не называя его прямо?

Ответ:—назвать невиновного». Бурцев с досадой захлопнул коробку с карточками, но потом и сам рассмеялся.

Задумчиво сидевший на табурете Солодовников оживился.

— Ну, это детские игрушки, Борька. А мне твой милый старичок преподнес развлечение совсем иного сорта. Тоже на психологию, видно, сыграть хотел. Вызывают меня как-то из камеры. Карета, жандармы,—все обычным порядком. Приезжаем. Вот Бурцев и говорит: «вы вот Солодовников, все запираетесь: знать не знаю, ведать не ведаю; или плетете всякую чепуху, каждый раз все новую; только следствие затягиваете. Ваш товарищ оказался практичнее. Познакомьтесь вот!—и дает мне лист бумаги». Ну, ей-богу, Борис; если бы не знал я тебя с 5-го класса гимназии, т. е. почти 11 лет изо-дня в день, то подумал бы, что ты сам писал всю эту гадость. До такой степени почерк похож. Надо очень внимательно всматриваться, чтобы найти разницу в очертании некоторых букв и в общем характере строчек. Стиль же — прямо твой.

Сосновский улыбнулся и промолчал.

С невольным изумлением взглянул на него Солодовников:

— Ты что же? Не спрашиваешь даже, что там было написано?

— Я и так знаю. Это было прошение о помиловании на высочайшее имя с обещанием не только поведать все подробности дела, но и впредь служить верой и правдой в качестве тайного агента.

Солодовников всплеснул руками и во все глаза уставился на своего товарища.

— Ну!?—хрипло вырвалось у него.

— А вот тебе и «ну». Точно такое же прошение, написанное уже твоей рукой, хотя и плохо (я ведь — художник, и меня не легко обмануть), Бурцев показывал и мне. Я только не хотел тревожить тебя этими гадостями и потому до сих пор не рассказывал.

— Как же ты реагировал?

— Да как тут будешь реагировать? Ведь не поднимется же рука закатить плюху старику, который только что выражал тебе всякое сочувствие, рассказывая о своей дочке и т. д., — задумчиво ответил Сосновский, шагая по комнате.—Очень поразила меня эта гнусность с его стороны. Помню, что, прочитав все прошение до конца, я взял перо и, прежде чем он мог помешать мне, зачеркнул твою подпись и подмахнул внизу: «Бурцев»,—его собственным почерком и с его характерным прямым росчерком.

— Ха-ха-ха!—закатился Солодовников.—Ну, а он что?

— А он выпучил глаза и смотрит на меня. «Вот эта подпись, говорю, больше походит на вашу, чем вся эта бумага на почерк моего товарища. Плохо, говорю, сделано!» Он покраснел и молчит. Поглядел я на него. «Вы как-то, говорю, упрекали нас,— зачем вносим дезорганизацию в общий ход мирного прогресса человеческих отношений? Вот пример этого прогресса!» И по бумаге похлопываю. «В прошлом веке, говорю, применялись пытки физические: жгли огнем, вешали на дыбу, пытали водой и прочее, чтобы вынудить признание. Теперь ваш прогресс сделал мирные завоевания: вы прибегаете к пыткам нравственным; стараетесь отравить душу клеветой, составляете фальшивые документы, пытаетесь разжечь ненависть и злобу и в такую минуту вырвать у человека признание. Что вам до того, что на всю остальную жизнь душа у него останется заплеванной, искалеченной этим вынужденным предательством? Знаете-ли, говорю ему, что в английском законе есть статья, которая категорически воспрещает вынуждать у преступника показания против его сообщников?»

— А такая статья там, действительно, есть?

— Есть. Я наверное знаю. Проверял нарочно у знатоков права. «До каких еще Геркулесовых столпов унижения человеческого духа дойдет, говорю, ваш мирный прогресс, если не остановить его во время каким-нибудь взрывом и не повернуть все на новые рельсы».

Друзья на время примолкли.

Сосновский методически шагал взад и вперед по комнате, а Солодовников улегся на кровать, закинув руки за голову.

— Расскажи, Борис, — заговорил он, — что такое вышло у тебя с Муравьевым? Я слышал, что тебя целый месяц держали

потом в подвале... Из-за этого и тут нас ожидают репрессии. Какая-то инструкция тайная прислана.

— Ну, это — история длинная. Погоди, сначала чайку соорудим. Ферапонтыч нарочно все приготовил.

Он присел к железному камельку, поджег дрова и поставил на конфорку жестяной цилиндрический чайник с водой.

— Ну, слушай. История, брат, поучительная. Сидел я тогда в 56-м номере Трубецкого бастиона.

Это уж было после суда—в ноябре, кажется, месяце.

Хожу я однажды по своему каземату из угла в угол по дорожке; знаешь—такая протоптанная в каменных плитах, довольно глубокая...

Хожу и думаю, — сколько шагов надо сделать, чтобы в граните образовалась эта колея?

Вдруг отворяется дверь, и входит «Ирод» в парадной форме.

Стал у двери на вытяжку и пропускает вперед какого-то типа во фраке со звездой. Морда обезьянья, вся заросшая черными волосами. В руке толстый портфель. Сзади жандармы и конвой.

Конечно, я остолбенел и смотрю, что будет дальше.

Черная обезьяна махнула рукой и точно вымела всех из камеры.

Двери закрылись, и он подошел ко мне.

— Позвольте представиться: товарищ министра внутренних дел и начальник департамента полиции, Муравьев.

Ну, думаю, не к добру забрался ты сюда!

Машинально предлагаю садиться.

— Два стула! — кричит он к двери; и стулья моментально являются.

Уселись.

Он раскрывает золотой портсигар с брильянтовым гербом:

— Не желаете ли?

Я, конечно, отказываюсь.

— Что же вы? Совсем не курите, или не желаете принять даже простой любезности от меня? Как на врага смотрите?

Я молчу.

— Эх вы, молодежь, молодежь!—продолжает он, а сам портфель на столик кладет и затягивается.

Аромат, я тебе скажу, от папиросы—просто, ах!

Ну, да ты все равно ни-черта в этом не смыслишь!

И принимается он тут меня, что называется, обхаживать.

— Вот вы, мол, смотрите на меня, как на врага, и ничего, кроме пакостей, от меня не ждете...

— Совершенно верно,—думаю.

— А ведь мне искренно жаль вас.

Зачем ввязались вы во всю эту историю? Подумайте, как убит будет этим известием ваш старик-отец, уважаемый, заслуженный человек...—И пошел, и пошел...

— Вы так прекрасно учились, подавали большие надежды. Чем же все это кончилось?

Каторгой, бесправием, опусканием на дно.

А ведь вам всего двадцать с небольшим лет.

Подумайте! Ваши более зрелые, а, может быть, даже и пожилые руководители воспользовались вашей горячностью, вашей неопытностью, выпихнули вас вперед—и что же?

Вы теперь в тюрьме, в каторге; а они на воле, за вашей спиной смеются над вами.

Поверьте мне! Смеются, зная, что вы из ложного самолюбия и юношеского тщеславия не посмеете выдать их.

Они пользуются и будут пользоваться всеми благами, всеми радостями жизни, а вы?

Над вами до конца дней, еще лет сорок, может быть, висеть будет позор каторжного.

Рудники, казематы, кандалы, бритая голова, а, может быть, розги и плети.

Вы—молодой, интеллигентный, рвущийся к жизни, любящий людей человек — не увидите больше ни радостей любви, ни общества, ни музыки, ни культуры—никогда!

Вдумайтесь в это слово: «никогда!»

Это страшное слово.

Ведь на земле жить только один раз; и молодость никогда не вернется.

Вот они, эти старшие товарищи, действительно, враги ваши; а не я—человек искренно вам сочувствующий,—с открытой душой я хочу помочь вам.

Вот!—он быстрым движением вытащил на стол из портфеля груду фотографических карточек.

Э-э!—думаю:—ну, это прием знакомый!

Только это не старик Бурцев; и кулаки у меня сами собою стали сжиматься.

А он ничего не замечает и продолжает напевать свое.

— Я, мол, ничего от вас не требую; никаких признаний; ничего оскорбительного для вашего самолюбия. Вот я буду перебирать карточки, а вы, если увидите знакомое лицо, только головой кивните. Вот и все. Чем обширнее ваше знакомство, тем лучше для вас. Мы доложим государю, и участь ваша может быть смягчена вплоть до ссылки на поселение куда-нибудь в Туркестан или даже на Кавказ.

Если же вы пожелаете быть вполне откровенным, то, смотря по серьезности дела, к вам еще может вернуться все, чего вы теперь лишены: и свобода, и родной кров, и невеста ваша,

которая, бедная, с тоской думает теперь, что самолюбие для вас дороже, чем ее счастье.

Тут, знаешь ли, чаша переполнилась. Я молча встал и указал ему на дверь.

Сначала он не понял.

— Что такое? что там?

— Вон! иначе,—и я замахнулся изо всей силы.

— А, так ты вот как, мальчишка!

Он судорожно запихал в портфель разложенные карточки, втянув голову в плечи.

Испугался, что я его ударю.

— Ну, я тебе это припомню!—и он выскочил из камеры; даже стул свой опрокинул по дороге.

Через мгновение на меня набросились сразу несколько человек жандармов и потащили по коридору за ноги и за руки.

Халат слетел во время борьбы.

Сволокли по лестнице вниз, завернули раза два по каким-то закоулкам и притащили в маленькую камеру.

Я, конечно, бросил сопротивляться. Бесполезно. Только озлобишь этих идиотов, и они еще изуродуют.

Тут с меня сорвали последнее белье и заковали в огромные ржавые кандалы; фунтов 15, ей-богу, если не больше. Заковали грубо, по-зверски, с ушибами и ссадинами.

Затем подняли в полу люк и кулаками столкнули меня туда.

Налету мне удалось ухватиться за ступеньки веревочного трапа, и я свалился на дно довольно благополучно.

Веревочный трап взлетел кверху. Люк захлопнулся, и воцарилась тьма.

— Чорт возьми! Прямо тайны Удольфского замка! — заметил Солодовников, поворачиваясь набок и облокотившись на локоть, чтобы лучше слышать.—Ты опиши это, Борька, в каком-нибудь рассказе или в повести.

— Обязательно опишу, лет этак через 10—15; после революции.

— А ты веришь, что революция застанет еще нас в живых?

— Обязательно! Сообрази-ка: каких-нибудь 10 лет тому назад нашему брату по деревням сами мужики руки назад вязали и к уряднику тащили за царя-батюшку. А теперь, смотри, что делается. Разве на себе самом ты не испытал общего сочувствия во всех буквально слоях общества? Не даром же отовсюду несется лозунг: «в массу! в массу!» Наступают новые времена. Крестьяне— уже не прежние крестьяне. Рабочие поняли силу и выгоду стачек. И нашим легче работать... На широкую волю, к массам вырвались наконец! Мы не одни, Сережка! Пускай же вместо наших дружин формируется партия, правильно действующая партия... У них живая связь с массами, о которой мы только мечтали. — У них есть

уже типография. Выпущены кое-какие брошюры. Девиз тот же, что и у нас был:

Счастье народа, доля его:
Свет и свобода прежде всего.

— Ну, нет! С такой тяжёлой артиллерией в Питере не усидишь и полгода; переловят, и делу конец. Нет! Наши боевые дружины лучше. Портативнее как-то. В центре президиум, как и был у нас, из 5 человек. За-глаза довольно; а остальные по стрелковым обществам в виде администрации. То-ли дело! Никаких документов: все на словах. Поди—лови тут! Леть пять работы, и по всей России выросла-бы сеть своей собственной революционной армии; да еще вооруженной за счет правительства. И вдруг, в один прекрасный день, пожалуйте!.. Вот бы суматоха поднялась!

Оба друга невольно расхохотались.

Чайник закипел. В стенном шкафике нашелся стакан. Сахар, хлеб и неизменную кокосовую скорлупу Сосновский предусмотрительно захватил с собою из барака. И теперь расставил все это на столе, нарезав хлеб тонкими ломтиками.

— Ну, вставай, Архимед! — вспомнил он школьное прозвище Солодовникова:—чай сервирован.

— Эстет по-прежнему! — добродушно усмехнулся тот, глядя, как разложен хлеб на тарелке изящной звездочкой.

— Ну, рассказывай, как ты веселился в подвале Удольфского аббатства, а я буду чай пить.

Сосновский молча шлепнул ладонью по голому черепу Архимеда, и они дружно принялись за чаепитие.

— На чем я остановился?

— На тьме.

— Ах, да. Ну, так вот. Уселся я на каменном, липком полу и стал ощупывать ноги. Страсть как болели. Кости целы, только во многих местах кожа ободрана кандалами при падении; да все тело немилосердно ломит. Болит и рана на животе. От нее ведь так и остался свищ незаросший. И теперь только тоненькой кожицей покрыт, как папиросной бумагой. Тронул рукой—мокро. Так и есть—кровь. Ну, что же делать? Перевязать все равно нечем. Белье взято жандармами. Поднялся я на ноги. Одной рукой кандалы прихватил, чтобы не волочились, а другую вытянул и давай обходить свою квартиру. Оказалось 12 шагов длины и 8—ширины. Стены, как и пол, из плитняка. Потолка не достать. Везде лужи. Вонь невероятная. В углу набрел на связку мокрой соломы. Продрог я основательно и потому с радостью в нее зарылся. Все-таки теплее. Постепенно глаза привыкли к темноте, и я прежде всего различил сероватую нить мутного света, проникавшую сквозь едва заметную щелочку в люке. Как ни мало было этого света, но через несколько часов я уже довольно

свободно мог ориентироваться у себя в подвале. Лихорадка прошла. Это влажная солома действовала как согревающий компресс. Извне — ни звука. Только слышно, как крысы стучат лапками по полу и шелестят соломой. Глаза их, как красные искорки, светятся; перемещаются, скрещиваются, то на полу, то на стене. Точно в воздухе летают. Такое впечатление.

— Хорошенькое начало... Что-то дальше будет?

— А что? Откроется, думаю, рана, и я медленно истеку кровью; а крысы и отвратительные миазмы ускорят дело. Но лучше спокойно подохнуть в такой яме, чем позор предательства, который осмелилась предложить мне эта черная обезьяна. Постепенно я забылся и крепко заснул. Разбудил меня яркий свет; глаза режет невыносимо. Смотрю — люк открыт, и на веревке спущен на пол деревянный поднос с куском хлеба и кружкой воды. Крысы же, проклятые, со всех сторон осаждают его. Выскочил я из соломы и хотел броситься туда, но позабыл про цепи и грохнулся на пол. Крысы разбежались, а сверху раздался хохот, и поднос начал подниматься. Кое-как я схватил его и снял хлеб и кружку. Люк опять захлопнулся.

— Вот прохвосты! — не выдержал Солодовников.

— Так потянулось время. Раз в сутки поднимался люк, и с разными злыми шуточками мне давали хлеб и воду. Холод, сырость, отвратительный запах... Я постепенно ослабевал. В голове начало путаться, и после 30 под'емов люка я сбился со счета. Остальное, как в тумане. Помню только, что в первые же дни я свил множество жгутов из соломы и обмотал себе руки, ноги и все туловище. Конечно, такая одежда при движениях разваливалась, и ее часто надо было подновлять. Но все-таки от холода она спасала. Странно, что я не простудился и даже не кашлял в этот кошмарный месяц. Должно быть, спасало страшное напряжение нервов. Перемешалось все: Муравьев, крысы, Ирод, жандармы и вы, мои друзья-боевики, кружились передо мною в каком-то фантастическом хороводе. Наконец, все провалилось куда-то в черную бездну. Очнулся я от легкого покачиванья. Два тюремщика несли меня на носилках. И вот тут-то, Сережа, я убедился, что нет на земле человека, в котором не тлела-бы хоть самая маленькая искорка добра и сострадания! Лежа на носилках, я с трудом поднял распухшие веки и встретился со взглядом шедшего в изголовьи рыжего одноглазого унтера, который больше всех издевался надо мною. И его единственный глаз вспыхнул радостью, и он едва слышно прошептал: — «Небось! Как поправишься — в Предварилку приказано. Там вольнее». Через неделю я был в Предварилке.

— Да, дружище, это марка высокого давления. Мне легче твоего жилось в крепости. Во-первых, мать добилась свидания. Во-вторых, оставила Ироду деньги, и я имел чай, сахар и булки.

В-третьих, никакие Муравьевы ко мне не лезли. Зато в Московском замке попал в Пугачевскую башню и сидел три месяца один, как перст. И надзиратель какой-то дьявол был. Десяти минут лишних погулять, бывало, не даст по дворику.

— Ну, в этом отношении судьба мне в Москве улыбнулась. Только-что заперли меня в Полицейской башне и я уселся на кровать переобуваться... Здорово натер ноги кандалами с непривычки... Вот только что занялся я этим делом,—щелк! Смотрю—глазок в двери приоткрылся, и кто-то заглянул в камеру. Затем слышу:—Чорт возьми, да это никак Борис!—Дверь открылась, и на пороге появился... знаешь кто? Витька Вейншток. Вот обрадовались-то!

— Вейншток? Студент? Да что ты? Это — тот, который у Оли с Верой бывал? Потом взят был за пропаганду в войсках и хотел бежать из больницы св. Николая, но упал и сломал себе ногу? Во-он, что... Интересно, что с ним было? Я как-то совсем потерял его из виду после неудавшегося побега.

— Да, видишь, он так рассказывает. Для отбывания воинской повинности поступил он вольноопределяющимся в один полк и, разумеется, сейчас же принялся за пропаганду. Засыпался и посажен был в военную тюрьму. Там симулировал сумасшествие и был послан на испытание в больницу св. Николая. С воли ему доставили пилку, и он постепенно подпилил прут в решетке окна. В одну ненастную ночь, кажется, зимой прошлого года, разорвал он на полосы простыню и одеяло со своей кровати, свил веревку и стал спускаться. Но веревка оборвалась, и он упал с 3-го этажа на улицу. Хорошо, что попал еще в сугроб снега; но все-таки сломал себе ногу, руку и ключицу. Его подобрали, вылечили и посадили в крепость. Представь себе, Сережа, какое совпадение! Сижу я как-то утром в своей камере, там, в Трубецком бастионе, в № 56. Приносит унтер кипяток. Смотрю—не мой чайник: к дужке приделан № 66, а не 56. Я, конечно, и виду не подал. Ушел унтер. Бросился я к чайнику и давай его осматривать со всех сторон. Так и есть. На дне нацарапано: — Вейншток Виктор, пропаганда в войсках. Забегал я туда-сюда, наконец, нашел в углу маленький камешек и нацарапал рядом: — Сосновский, боевик народоправцев. Только успел кончить, является унтер с моим чайником. Смотрит на меня подозрительно так. А я себе хожу из угла в угол, будто и не замечаю ничего. Забрал он чужой чайник и ушел. Знаешь, как в одиночке сближают даже такие мелочи? Уже одна мысль о том, что я не один в этом каменном мешке, прибавляла тогда мне бодрости; где-то поблизости хоть одна знакомая душа отозвалась. О тебе ведь я долго ничего не знал: ни где ты, ни что с тобою. Ясно, что в Москве мы встретились, как родные. Оказывается, надзиратель башни распропагандирован до последнего. Витька сидит давно, уже месяца 3, и хозяйничает, как дома. Даже отмычку завел и

шляется по всем камерам, благо никого нет. Можешь себе представить, что мы там выделывали. Старший приходил только вечером на поверку и так ужасно кашлял и стучал ногами на винтовой лестнице, что мы всегда успевали разбежаться по своим камерам и захлопнуть за собою двери. В ясные дни со двора не уходили до вечера. Кругом все облазили. Даже в подвал ходили, где начинаются сточные трубы.

— Так что же вы, черти, не бежали?

— Да нам предлагали побег. Московская организация социал-демократов через надзирателя прислала записку. Он получает 3.000 рублей. Мы его связываем и через крышу спускаемся на бульвар. Оттуда в карете на вокзал и с ночным поездом за границу. Паспорта, грим—все готово.

— Ну, и что же вам помешало?

— Вейншток заявил, что хочет посмотреть, что за каторга такая; и познакомиться с сибирскими товарищами; а бежать можно и оттуда, если надоест. Я думал приблизительно так же, и кроме того мне совестно было бросать тебя одного... Не мог, знаешь, представить себе, что я на воле, а ты в каторге...

— Дурак! — дрогнувшим голосом проворчал Солодовников, отвернувшись в сторону, чтобы скрыть от товарища свое волнение.

Тот почувствовал это и молча пожал ему руку.

— Собственно, еще дело в том, — с неестественным оживлением начал Сосновский, после неловкого молчания,—что, согласись сам, свинство было бы бросить Олю на посрамление всей этой жандармской шайке и бежать после обручения с нею. Мы ведь официально обручились в Москве в тюремной церкви. А венчаться должны здесь.

— Положим, это не препятствие... Глупо было не воспользоваться предложением...

— Нет-с, извини,—загорячился Сосновский,—ее обязательно заподозрили бы в соучастии... Арест, допросы, месяцы сиденья... опять из-за меня! Нет, уж как хочешь, а это просто подлость была бы с моей стороны.

— М-да! Пожалуй! — нехотя сдался Солодовников, закусив бороду и скашивая на нее глаза. — Впрочем, это—твое дело. Я никогда не влюблялся и всех этих ваших антимоний не понимаю. Когда же у вас свадьба-то?

— Ну, это вопрос очень большой. Я не считаю себя в праве даже поднимать его. Оля пока свободный человек. А я—что дам ей? Свои цепи? Ты сообрази, архимедова голова, что ты говоришь. Решать его может только она сама. Я тут голоса не имею.

Товарищи заспорили.

— Ах, скажите пожалуйста: цепи! — иронизировал Солодовников. — А ты что же? Рассчитываешь замок в Шотландии

преподнести ей и еще собственный отель в Париже, чтобы иметь право голоса?

— Не передергивай, Серж, ибо это недостойно величайшего математика древности. Мы говорили о минусах, а ты перескочил на плюсы и громишь меня за то, чего я и не касался. Под моими цепями мы оба, надеюсь, подразумевали то бесправие, унизительное положение, которое Ольга должна будет занять в обществе, ставши моей женою. Это — минус, настолько очевидный, что и спорить нечего. Имею ли я нравственное право не только назначать какие-то сроки, но даже, вообще, заговаривать о свадьбе при таких условиях? А всякий вопрос о матерьяльных благах, будет ли это замок в Шотландии, или резиновые галоши на меху, т.-е. всякого рода плюсы, совершенно не интересуют ни ее, ни меня. Так что бросьте волынить, высокоуважаемый оппонент, как говорят в парламентах, и сократись, пока не попало тебе по шее, как поясняют в кулуарах.

— Что же, вы и впредь собираетесь такие китайские церемонии разводить друг с другом?—засмеялся Солодовников.—Ну, ну, не кипятись, Борька! Я к тому клоню все дело, что если свадьба задержится надолго, то вы лишитесь моего родительского благословения.

— Это еще что за загадки, Сережка? О каких благословениях ты толкуешь?

— Видишь ли, друже, — перешел Солодовников на серьезный тон. — Я узнал, что на-днях меня переводят в Дуйскую тюрьму. Есть приказ держать нас врозь. Чего боится это дурачье—не понимаю. Ежели они думают, что вдвоем мы можем разрушить государственный строй на Сахалине, то это столько же лестно, сколько и глупо.

— Нет, Сережа. Они не так наивны. Это — просто продолжение мести Муравьева. И поверь, что до конца ее еще далеко. Только бы у тебя не возникло в душе неприязненного чувства ко мне за все эти дополнительные прелести каторги. Направленные на меня, они столько же и тебя захватывают...—задумчиво закончил Сосновский, ласково кладя руку на плечо товарища.

— Слушай, Борис. Раз навсегда оставь эти обидные для меня сомнения, если не хочешь, чтобы мы серьезно поругались. Я не девчонка и не барчонок, чтобы в обморок падать и скулить из-за лишней пары неприятностей или репрессий. Скорее я смотрю на них, как на знаки военного отличия в нашей борьбе с врагами народа. К тому же у нас остается в руках средство покончить всю эту канитель; это—побег.

Солодовников закрыл окно и нагнулся к Сосновскому.

— Я уже предпринял разведку в смысле спутников; наметил кое-кого, правда, из уголовных, но людей надежных...

— Пешком? Да ты очумел, Сергей! Разве Ольга выдержит такой путь?

— Зачем пешком? Захватим катер и за ночь будем в Де-Кастри, а там перевалим водораздел и вдоль речки Нельи хватим на Мариинск; оттуда...

— Брось, коллега! Все это мечты. Я не о себе говорю. Я не такие походы делал! А ты дальше Парголова не ходил и не представляешь себе даже одной десятой того, что затеваешь. Если бежать, то только на иностранном корабле. Сюда, говорят, заходят американцы, англичане... В эту сторону и надо будет направить разведки. Только не посвящай в эти планы никого, решительно никого, иначе может...

Хлопнула входная дверь, по коридору застучали неровные шаги, и кто-то с чертыханьем и сопеньем принялся шарить ключом по двери в поисках замочной скважины.

— Ферапонтыч, и, конечно, пьяный,—заметил Сосновский.— Ну, надо расходиться.

Друзья встали, собираясь прощаться.

Но в это время дверь с треском распахнулась, и Ферапонтыч показался на пороге.

Лицо его было вдвое краснее обыкновенного, глаза выражали полное блаженство, а из кармана торчала бутылка наливки.

— Куд-да? — и он широко расставил руки, загораживая выход. — Не пуш-шу без угощения! Выпьем, други... Не побрезгуйте, хотя мы люди и простые...

— Эх, хватили, Ферапонтыч! — улыбаясь, заговорил Сосновский, толкнув локтем товарища.—Мы ведь тоже не позолоченные. Отчего и не выпить, коль от души предлагаете?

— Вот это я люблю! Образованные, можно сказать, господа и нашим братом серым не брезгуют! — заревел во все горло Ферапонтыч, срывая с головы папаху и хлопнув ею об пол.

С треском водрузив бутылку на стол, он полез в нижнее отделение шкапчика, запертое на ключ, и добыл оттуда три жестяных кружки.

— Сейчас спорил со Щукиным. Жалел он, что вас не привел я; рассказали бы, говорит, что на белом свете делается и каких таких правов вы, значит, добиваетесь. Я говорю: — давай схожу. А он:—нет, говорит, не пойдут, обидятся, зачем к тюремному надзирателю зовешь в гости.

Наполнив кружки, он широким жестом указал на них и с поклоном прибавил обычное сибирское: «получайте!»

— Я говорю:—пойдут,—а он:—не пойдут!—продолжал он слегка заплетающимся языком, чокнувшись и медленно выцедив свою порцию. — Не пойдут, говорит, и еще обидятся, потому политика нашего брата не обожает, зачем при тюрьме служим... Вы как на это полагаете?

Друзья переглянулись.

— Ну, и задачу загнул пьяный чорт!—мелькнуло в голове у каждого.

— А я и забыл совсем. Пардоньте меня, пожалуйста, господа... — засуетился Ферапонтыч, шаря по карманам шинели. Наконец, он вытащил коробку сардин и кусок копченой колбасы.

— Получайте!

Невольно улыбнувшись, они принялись «получать».

— А давно вы служите надзирателем?—начал Солодовников, стараясь замять щекотливый вопрос Ферапонтыча.

— Третий год. Как военную службу кончил, так и поступил на место. Из местного батальона я.

— Ну и как, ничего? Довольны?

— А чего-же? Сорок рублей жалованья, обмундировка... Доходишки перепадают... Чего еще надо? Мы—люди простые...

— И по душе вам служба? Не бывает тяжело, что с арестантами все, с каторжанами? Ведь они, как на тюремщика, на вас смотреть должны. Разве не тяжело это?

— Зачем на тюремщика? Я арестанта не утесняю. Такой же человек. Мало-ли несчастья бывает! Сегодня он, а завтра я. Нет! Арестанты меня любят; я по хорошему с ними; а что служба—везде служба. Вот господин Бражников один раз тоже спрашивает: отчего, мол, я на другую службу не перейду, чем людей в тюрьме караулить? Вы, мол, человек хороший, душевный; зачем такое место взяли?

— Что же вы?—заинтересовался Сосновский.

— Да что! Говорю ему:—если, мол, я уйду, так на мое место, может, зверь какой попадет. Разве лучше будет? Таких местов, говорю, ежели душевным людям гнушаться, то на свете и жить нельзя будет.

— Ловкач! — подумал Сосновский и стал прощаться. Потом кивнул на Солодовникова. — Я провожу его и сейчас же вернусь; пора по домам; уж скоро утро.

Распрощавшись с Ферапонтычем, друзья вышли на двор.

Предрассветный ветер потянул с затихшего моря. Беззвучно колыхая седые массы тумана, тихо погнал он их от реки по лугам и пригоркам. Строй за строем неслись они, молочно-прозрачные, наклонившись вперед, и кудрявые головы свои вздымали высоко к темневшему небу.

Одна за другою гасли там звезды.

Ни гор, ни деревьев не видно. Неровным пятном расплывается позади карантинный барак. Такой же темный силуэт смутно маячит впереди.

Сколько шагов до него? Может быть, двадцать, а может быть, тысяча?

— Ну, до-свиданья, Борис!

— Счастливо, Сережа! Пиши с оказиями.

Вот неуклюжий силуэт товарища закрылся снизу полосою тумана; враскачку движется безобразная арестантская шапка; мелькнул рукав надетого на-распашку халата. Ушел.

Тихонько вздохнув, повернулся Сосновский и медленным шагом побрел на свое место.

ГЛАВА VII.

Прошла неделя. Размещенная в бараке партия каторжан понемногу таяла. Канцелярия губернатора закончила разбор статейных списков и разбила людей на группы.

Ежедневно, после медицинского осмотра, группы эти под конвоем выходили за ворота карантина и заполняли собой вакантные места по тюрьмам.

Предварительно, конечно, соответственное количество людей выпускалось оттуда в вольную команду с правом жить на частных квартирах.

Только таким образом и можно было уравновесить огромную ежегодную прибыль каторжан, не строя для них новых тюрем и не увеличивая штата служащих и конвойных.

— Сосновский, к доктору! — официальным тоном заревел Ферапонтыч; и эхо гулко прокатилось по пустому бараку.

— Солодовников Сергей Сергеевич в Дуйскую тюрьму назначены... Вчера отправлены,—конфиденциально добавил он, когда Сосновский молча направился к дверям надзирательской.

Он был последним. Остатки весеннего «сплава», человек в 50, только-что покинули карантин, и нестройный гул их голосов постепенно замирал в отдалении. Партия ушла.

— Сережка в Дуэ; значит—меня здесь оставят,—мелькнуло в голове Сосновского.—Только бы не в Тымовский округ.

Он открыл дверь.

— Разденьтесь!

Высокая, энергичная фигура доктора поднялась из-за стола. Началось выстукиванье и выслушиванье.

Обнаженный Сосновский молча поворачивался во все стороны, подставляя сидевшему верхом на табурете доктору то грудь, то спину.

— Ну, и типики! — думал он, оглядывая на досуге собравшуюся комиссию.

Там Володя Губанов, окруженный волнами табачного дыма, наклонил к полицеймейстеру Ипатову свою испитую арестантскую физиономию и вполголоса говорил какие-то скабрезности.

Папаха у него с'ехала на затылок, а темное, тронутое оспой лицо, блестя бельмом на левом глазу, отчеканилось в воздухе оскалом гнилых зубов.

Ипатов играл кольцами своих завитых усов, оттопырив мизинец с бирюзовым кольцом «а-ля-маркиз» и только улыбался, завистливо вглядываясь в юношески стройную фигуру Сосновского.

Высокая, крепкая грудь и сильные руки Сосновского, несмотря на два года тюремных скитаний их обладателя, как бы кричали о молодости и цветущем здоровье. Каждый мускул отчетливо обозначался, и пораженный Ипатов только и мог выдавить сквозь гнилые зубы:

— Иш-шь, с-сволочь!.. Крепкий... Ну, подожди, каторга-то твою красоту пообломает!..

Володя сначала удивленно таращит на него свой единственный глаз, но, смекнув в чем дело, опять нагибается к нему и, весь трясясь от заглушенного смеха, начинает говорить что-то, должно быть, неимоверно циничное; по крайней мере, сидящий тут-же фельдшер Созин, вечно полупьяный, рыжеволосый и коренастый суб'ект, внезапно фыркает и, виновато взглянув на доктора, принимается рыться в разложенных на столе бумагах.

Услышав брошенную Ипатовым фразу, Сосновский невольно вздрогнул и сжал кулаки, чтобы сдержаться.

— Что с вами? Вам больно?

Доктор бросил выслушиванье и отодвинулся от Сосновского.

Сквозь стекла пенснэ ласковым светом сияли теперь его карие глаза с сетью мелких морщинок и большими отечными мешками под ними.

— Должно быть, сердце не в порядке—соображал Сосновский, глядя на эти мешки. — Так это и есть доктор Ларов, о котором дали такой хороший отзыв товарищи и так тепло говорила Оля?

— Нет, спасибо, я совершенно здоров.

— А это что такое?—воззрился доктор на огромный шрам, тянувшийся от ребер почти до самого паха.

— Laporotomia? По какому поводу?

— Ранен был пулей при аресте... Оперировали потом...

Но доктор уже не слушал.

Точно чему-то обрадовавшись, он быстро исследовал шрам, нажимая то в одном, то в другом месте.

— Так и есть, — с торжеством воскликнул он наконец:—незаросший свищ... вот он... внутренняя грыжа, очевидно... Созин, пишите!

— Вам больно, когда я нажимаю?

— Нет, не особенно.

Глаза доктора укоризненно заморгали.

— Поднимать и носить тяжести не можете?

— Могу.

Доктор засопел носом, и его смуглое лицо сангвиника вспыхнуло.

— Могу, могу... Ну, сколько вы можете поднять?

— Да с товарищем Вейнштоком на плечах я взбегал по винтовой лестнице на самый верх башни в Московском замке; а в нем больше 4-х пудов!—с улыбкой вспомнил Сосновский.

Доктор метнул на него свирепый взгляд и, с треском отбросив табурет, подошел к столу.

— Созин, пишите! Сосновский, одевайтесь! Вы—свободны!

— В пределах карантина, конечно!—вставил Володя Губанов и закатился веселым смехом.

— Что, Николай Степанович,—продолжая смеяться, заговорил он, когда Сосновский вышел. — Не удалась ваша филантропия? Мальчуган-то с норовом оказался и милостыни не принимает?

— Пустяки вы все говорите!—вспылил доктор,—при чем тут филантропия? Нельзя же человека с незажившим рубцом от такой раны посылать в рудник или под бревна! Каторга каторгой, но на истязание вы не уполномочены. В противном случае, институт врачей тут вообще излишен.

— Истязание... Институт врачей... брезгливо протянул Ипатов.—Оставим громкие слова, уважаемый, и средактируем лучше протокол осмотра. Не забудьте, что это—политический, во-первых, и что о нем имеется вполне определенное секретное предписание, во-вторых...

— Ну, и что же?—горячился доктор, откидывая назад с высокого лба длинные черные волосы. Что же такое? Я врач, и никаких предписаний мне делать нельзя-с, в пределах моей науки, моей специальности!.. И я, собственно, не понимаю, Петр Кириллович, ни того, зачем вы трудились приехать сюда, раз это не входит в круг ваших обязанностей, ни вашего поведения относительно этого Сосновского...

— Ну, на это имеются особые причины!—подмигнул Володя.— Петрушино сердце ранено стрелой из черных очей Ершовой, и он приехал сюда воочию убедиться в достоинствах своего счастливого соперника и, кстати, сравнить их со своими увядающими прелестями.

Созин опять фыркнул, а уязвленный полицеймейстер вскочил с места и, покраснев до корня волос, накинулся с упреками на хохотавшего Губанова.

Доктор посмотрел на обоих, плюнул и вышел в барак.

Там Сосновский уже собрал свои вещи и, стянув мешок так, чтобы легко было закинуть его за плечо, скручивал носогрейку.

— Ну, ваши ответы нельзя назвать особенно удачными, — сердито начал доктор, раскрывая портсигар: — Курите, пожалуйста! Все же я хочу попытаться устроить вас перевязчиком ко мне в лазарет. Пойдете? Вы ведь студент-медик — и медицину нюхали?

— Нюхал,—улыбнулся Сосновский, беря папиросу,—и пойду к вам охотно, если пустят.

— Да пустили бы несомненно, если бы не собственное ваше ребячество; зачем было говорить при этих идиотах о своих подвигах в Московском замке?

Дверь надзирательской приоткрылась.

— Николай Степанович! Протокол подписывать пожалуйте.

С одним конвойным солдатом и Ферапонтычем Сосновский вышел из карантинных ворот навстречу новой жизни.

Вот и знаменитые «пали» кандальной.

Глубоко врытые в землю, толстые, вершков по 6, бревна тесным рядом устремили в небо свои заостренные верхушки. Не менее 3-х саженей высоты в этой стене, и не одна тысяча ровных и стройных, как свечи, деревьев на нее загублена.

Теперь стоит мутно-серая, потемневшая от времени щетина, а за ней... за ней тоже кипит жизнь; своеобразная, надорванная и больная; но и в ней есть свои радости, свои надежды, интриги и огорчения.

Саженей на сто протянулась стена; последние бревна кажутся совсем небольшими, а часовой, вышедший из-за угла, выглядит деревянной игрушкой.

Ворота. Огромные, под-стать всему сооружению.

Над ними длинная черная вывеска.

Сосновский читает:—Александровская каторжная тюрьма разряда испытуемых.

— Ну, это не ново,— думает он, насмешливо улыбаясь.—Протянуть эту вывеску над всей Россией, вот и все; благо-царствует сейчас Александр!

Ему становится смешно и весело.

— Ферапонтыч! — вопрошает он, — а как вы думаете, разве вся Россия наша не в тюрьме для испытуемых живет сейчас у царской жандармерии?

— Не могу знать! Пожалуйте!

Ферапонтыч косится на подворотного часового и отворяет узкую калитку с высочайшим порогом.

Оставив конвойного за воротами, они входят.

— Во второй корпус вам назначено. Полняк (годовой комплект казенной одежды) у вас в порядке?—озабоченно допрашивает Ферапонтыч, шагая с Сосновским по залитому солнцем, почти пустому двору.—А то у Сидора нашего гайка слабовата насчет этого. Чуть что, сейчас к смотрителю.

— Ну и тогда?

— В десятый номер, известно.

— Это что же такое?

— А камера такая при вольной тюрьме.

— Что же там, арестуют?

— Зачем арестуют? Тридцать дадут и обратно, значит, топай на свое место.

— Тридцать? Неужели розог? — не удержался Сосновский и сам сконфузился наивности своего вопроса.

— Знамо, не рублей! — усмехнулся Ферапонтыч. — Вы посидите здесь; я — сейчас! — и он взбежал на высокое крыльцо второго корпуса.

Сосновский сбросил мешок с плеч и присел на ступеньку.

Большой квадратный двор.

Как глиняный пол, плотно утрамбована земля.

Еще бы! Тысячи ног топчут ее.

Друг против друга, двумя парами, стоят длинные бревенчатые корпуса с очень высокими, в 10—12 ступенек крылечками.

— Ишь-ты, окна-то,—почти венецианские!—пришло в голову забавное сравнение. — Не то что бойницы в Московской башне или узкие горизонтальные щели Трубецкого бастиона.

Трагизм представления о каторге бледнел все больше и больше.

Ничего этакого, Шильонского, героического.

Самые патриархальные российские казармы провинциального типа.

Деревянные дырявые мостки проложены через двор и вдоль корпусов. Молодая весенняя травка любопытно выглядывает из всех щелей избитых, бурых от времени досок.

Слева тюремный околоток. Справа, в глубине двора, какой-то сарайчик с широко распахнутой, повисшей на одной петле дверью; внутри его видны огромные котлы, должно быть, для кипятка.

Рядом строится новая баня, как сказал Ферапонтыч.

Какие-то люди копошатся у нее, лениво постукивая в стену деревянными молотками.

— Конопатчики,—соображает Сосновский.

Громко хлопнула дверь. Из ее темной квадратной дыры выползла низенькая, ковыляющая фигура чернобородого татарина с тупым взглядом широко-расставленных глаз.

Длинный халат почти волочился по земле; неуклюжий ворот с одной стороны залез под самое ухо, а с другой подвернулся внутрь; бесформенная шапка с наушниками спускалась на глаза, и он одной рукой поминутно поправлял ее, чмыхая носом; в другой руке у этой ленивой, неряшливой фигуры была огромная метла: чересчур длинные рукава халата мешали взять ее, как следует, но после долгой борьбы мудрый Бабай (пожилой татарин) справился, наконец, с этой задачей и принялся возить метлой по ступенькам крыльца, начавши снизу.

Результаты такого неосновательного образа действий нимало не смущали Бабая.

Свалив кучу мусора на только-что выметенную ступеньку, он снова с таким же терпением принимался изгонять с нее сор, нелепо размахивая метлою во все стороны.

— Вот, лешева голова, что делает!—не вытерпел, наконец, один из конопатчиков, высокий, сухой арестант в желтом, задрызганном халате, отложив колотушку на подмостки и свертывая цыгарку.

— Эй! Бабай! Ты что, дура, делаешь? Нешто снизу можно мести? За что тебя только в каторгу-то прислали?..

— Сверху, сверху надо!—кричал он обернувшемуся Бабаю.

Тот чмыхнул носом, поправил сползавшую шапку и равнодушно продолжал мести по-своему.

Сосновский невольно рассмеялся.

— Фу-ты, какой необразованный народ! Ком сэ доммаж. Нэ-с-па, мосье?

Маленький, плюгавый суб'ект с полуобритой головой и в кандалах, но с золотыми очками на вздернутом носике,—искательно смотрел на него, пощипывая полуседые клочья жидкой бороденки.

Весь он как-то удивительно походил на старую, облезлую моську, трусливо-злобную и подхалимную: и хвостом вертит, и того-и-гляди за ноги хватит.

На спине и на груди старикашки халат как-то странно топорщился.

— Вы, политический Сосновский? Аншантэ де ву вуар! Моя фамилия — князь Довмонт-Мацулевич. У меня брат—гусар, и другой брат—губернатор. Знаете, может быть? Хе-хе-хе!

— Нет, не знаю! — ответил Сосновский, с изумлением рассматривая этот новый для него тип человечества.

Нелепое хвастовство и дикий французский выговор выдавали какую-то мистификацию.

«Но для чего это? Неужели только из желания порисоваться? Но ведь он должен же понимать, что княжеский титул в моих глазах—совсем не высокая рекомендация»!—подумал Сосновский.

— Да брось ты заливать-то, картонный барин, — пробасил, сходя с крыльца, высокий чахоточный человек с длинным, кривым носом и пером за ухом.—Вы не слушайте его, Сосновский! Я не слыхал, что он тут говорил, но знаю, что все врет с начала до конца. Эх ты, картонный барин! Сейчас примем вас, Сосновский! Вот только за журналом схожу.

Проходя мимо старикашки, он шутя хлопнул его по спине.

Раздался гулкий звук, точно ударили, действительно, почему-то картонному.

— С-с-скатина! — зашипел тот, сжав кулачонок, и весь затрясся от бешенства.

— Аллон фэр юн променад! — сейчас же обернулся он к Сосновскому, мгновенно преображая свое лицо в экстра-любезную гримасу.—Деван сэ «хамы» я никогда иначе не говорю с воспитанными людьми, как по-французски... А этот писаришка Орлов такой хам! — добавил он, оглядываясь с некоторым опасением.

Но Орлов уже входил в двери противоположного барака.

— Ваш батюшка генерал?.. Скажите: богат он?... И знаете что, мосье! — он конфиденциально взял Сосновского под руку и, подскакивая, тянулся губами к его уху. — Если при вас есть какие-либо ценности, то передайте их лучше мне. Тут все как есть отбирают, а потом пропадает. Вы понимаете? А я сохраню и после обыска вручу вам обратно. Компренэ ву? как между благородными людьми! Я рад служить человеку моего круга. Парбле! Надеюсь, не встречу недоверия... Вы понимаете? Компренэ?

— Я понимаю вас очень хорошо. И очень благодарен за любезность, — едва сдерживая улыбку, сказал Сосновский, — но, к сожалению, у меня нет никаких ценностей, кроме этого обручального кольца... Ну, его-то у меня возьмут разве что только вместе с пальцем! — и он широко улыбнулся.

— А простите за нескромный вопрос, — перевел он разговор на другую тему, — что это у вас под халатом наложено на груди и на спине? Кираса какая-то? Зачем это?

Довмонт-Мацулевич вспыхнул и беспокойно затоптался на месте.

— Именно кираса! Вы угадали, мосье Сосновский. Эти хамы здесь на мою жизнь покушаются. Им глаза колет, что благородный человек среди них находится. Вот я и подкладываю, знаете, книги. Живот мне Лермонтов защищает, на груди «Обрыв» Гончарова, а на спине матерьяльная книга за прошлый год распластана; у Орлова стянул. Хе-хе-хе! Здесь нельзя иначе. Вот поживете, сами увидите. О-ре-вуар!—он любезно помахал ручкой и, злобно оглянувшись на подходившего с журналом в руках Орлова. засеменил в околоток.

— Ну, что? — улыбаясь спросил Орлов, — Ценности просил на сохранение барин-то картонный? Идемте в надзирательскую.

— Просил. Да у меня их нет.

— То-то же! А то это такая жулябия, и вор к тому же! Вчера деньги у одного татарина пропали; из халата ночью кто-то вырезал; рублей 50; в одной камере с этим Мацулевичем. Сегодня он уже, видите? в околотке и книг себе за пазуху напихал; боится, чтобы татарин пером его не черканул сгоряча, если дело выплывет.

— Да кто же он такой? Неужели князь Довмонт-Мацулевич?

— Какой он там князь! просто по бродяжеству взял себе эту фамилию. Так, приказная строка какая-нибудь, из судейских: законы здорово знает, — какую угодно ябеду настрочит. А почерк и печати подделывает — малина! Не отличишь от настоящих. Артист — замечательный.

Сидор «полоротый» довольно равнодушно пересчитал казенные вещи, сданные Сосновским, отметил их в книге и, удержав зимний комплект, отдал остальное обратно.

— Ваша камера № 4. Завтра на работу. На сегодня хлеб есть? Обед получите сегодня, а хлеб пойдет только с завтрашнего дня. Когда устроитесь, приходите в 4-й корпус, в подвальный этаж... Вон напротив — дверь открыта; надо побриться по форме и заковаться. Пока до свиданья. Будете вести себя тихо, скоро выпустят; за вас хлопочут шибко и доктор Ларов, и окружный, да и политика нажимает... Ну, идите.

Широкий, сажени в две коридор освещался четырьмя огромными квадратными окнами с мелким переплетом; по одному окну против каждой камеры.

В одном конце коридора — надзирательская; в другом—длинное железное корыто; над ним такой же длинный бак с торчащими вниз короткими железными прутьями; это примитивный умывальник.

Вот и четвертый номер.

Широкая, обитая железом дверь с квадратным окошечком на высоте роста теперь настежь открыта.

Против нее два больших окна с решетками; в простенке небольшой столик; вдоль когда-то выбеленных стен высокие коричневато-бурые нары; над ними длинные полки с котелками, деревянными бочками, чайником и другой несложной тюремной посудой.

В изголовье нар свернуты казенные, тонкие, как блин, войлочные подстилки и собственные подушки.

Справа, на середине стены, печь голландского типа, огромная и нескладная.

В воздухе перекрещивается целая сеть веревок, особенно вблизи печи; очевидно, для просушки мокрой одежды.

Черный от копоти потолок пересечен чудовищной толщины балкой; с нее в центре камеры сиротливо свесилась крохотная жестяная лампочка на толстом железном пруте.

Одним жадным взглядом охватил все это Сосновский, стоя на пороге с мешком в руке. Ведь здесь ему придется жить, наблюдать и мыслить, страдать и радоваться... жить не менее 2-х лет...

— Камерщик! — заорал Ферапонтыч. — Аджали, чортова проплешина! Успеешь капиталы свои сосчитать! Прими вот человека. Сосновский — политический. Место найти помоги.

— Зачим капитал? Какой капитал? Адны убыток! Тут какой майдан? Это разве Кара? Тут Сакалин! — залопотал низенький, кривоногий татарин с юркой обезьяньей физиономией. Черная голова его была покрыта белыми проплешинами стригущего лишая самой разнообразной формы. Раскосые глаза плутовски улыбались из своих щелочек, а скуластое, безбородое лицо с поразительной быстротой меняло свое выражение.

Поспешно захлопнув большой сундучок, стоявший на нарах у окна, он подскочил к Сосновскому.

— Идем, идем, кардаш! Вот мэсто тибэ. Чох якша! Це-це-це, какой место! На всем свете лучше нэ бывает! У печки! Тэпло зима тибэ будэт. Спасыбам Аджали скажешь!

— Ну, и место нашел, татарская лопатка! — усмехнулся Ферапонтыч. — Тут у двери самая эта параша ставится... Ну, да ничего, Борис Иванович. Обживетесь — все обомнется. Ребята ничего здесь... А дежурный—Полещук сегодня; ему я сам скажу. Ну, прощавайте пока. Не робейте!

Молодцевато щелкнув каблуками щегольских сапог со сборами, он мигнул Аджали и вышел с ним вместе.

— У парня нет ничего. Голый совсем. Видишь, даже подушки своей нет. Студент, одно слово, — шипел он ему за дверью.— А человек очень душевный! Смотри же ты у меня, эфиоп коричневый, чтобы никаких поборов не было! Так и старосте скажи от меня... Дайте оглядеться. Человек образованный. Пригодится!..

Сосновский завернул свой мешок в халат, закатал все в подстилку и, задвинув в изголовье указанного ему места, вышел на двор.

Сгибаясь под тяжестью огромных ушатов, надетых на крепкие водоносы, пролезают в калитку попарно камерщики со своими подручными и рысцой разбегаются по корпусам.

Это несут обед.

Теперь постный день, и потому баланда рыбная.

Сосновский нагнулся над ушатом, но сейчас же отшатнулся. Крепкий специфический запах так и ударил в нос: не то чеснок, не то еще что-то в смеси с гнилой рыбой.

— Ха-ха-ха! — закатился Аджали.

Даже угрюмый рябой подручный «парашечник» растянул свой беззубый рот в подобие улыбки.

— Это черемша; чеснок такой по тайге растет на полянках. Начальство велит в баланду класть, потому: рыба духовитая малость, — пояснил он.—Ничего, запах пользительный. Без черешми ежели, то с рыбы с эстой ноги пухнут, и зубы шатаются. Видишь вот?

Он раскрыл рот и корявым, черным пальцем провел по пустым деснам.

— Все выпали. Лет двадцать ведь я по тюрьмам сибирским...

— А вы не заковались еще? И голова не брита? Не дай бог, смотритель в тюрьму шарахнет! — перебил подошедший Орлов.—Идемте-ка в «сушилку». Там весь туалет вам живо справят. Вон дверца под четвертым корпусом... Там и секретные, там же и салон, где красоту нашу поддерживают, — словоохотливо пояснял он по дороге.—У вас целковый найдется? Нет? Ну, хоть полтинник? И того нет?.. — Эх, жалко! А то Пашка-слесарь с'емные кандалы приспособил-бы. Он такой на этот счет оптик-механик!

— Как с'емные? Ведь заметно-же будет.

— Ничего не заметно. В ушках браслета нарезка делается, а вместо заклепки винт с круглой шайбочкой на другом конце. Вот и все. Кто не знает, ни за что от настоящей заклепки не отличит. Ну, да это мы устроим. После отдадите.

Согнувшись в низенькой двери, они перешагнули через высокий порог и очутились в надзирательской секретного помещения, или, иначе, сушилки.

В глубине два маленьких узких окна выходят на двор над самой землей. Стекла их засижены мухами, тусклы, с радужной пленкой.

По трем стенам кровати. На них за большим столом сидят надзиратель Мартынов, или попросту «Мартышка», и двое каторжан: Пашка-слесарь и Федька Осетин — парикмахер и куафер ее величества Кобылки, как представил их Сосновскому Орлов.

На столе откровенно красуется бутылка водки и тарелка с соленой кетой. В углу на круглой железной печке аппетитно шипит сковорода с жареной картошкой.

Публика закусывает; чайная чашка с обломанной ручкой идет в круговую, заменяя рюмки.

Видно, что здесь собралась не шпана какая-нибудь полоротая, а сливки общества, примерные арестанты.

Как Пашка - слесарь, так и Федька Осетин — «на ваканциях» и потому от других работ избавлены.

Чтобы достигнуть такой высоты общественного положения, нужно иметь солидный стаж и яркие подвиги в прошлом, а также здоровые кулаки и широкую глотку в настоящем.

— Садись, Орлов. Не желаешь ли? — скользнув беглым взглядом по фигуре Сосновского, кинул Федька.

— Спасибо. Я ведь не пью... нельзя мне... Побрей вот на скорую руку; нового сплаву — политический.

— Слыхал, знаю.

Широкое лицо Федьки, дышавшее какой-то дикой удалью и бесшабашным упрямством, осветилось улыбкой, и он, встав из-за стола, милостиво протянул руку Сосновскому.

Вся его фигура, с неимоверно высокой грудью и мощными плечами, казалась отлитой из чугуна.

— Пожалуйте. Я машинкой вас, для скорости.

Пока Федька щелкал машинкой, а Орлов шептался о чем-то с Пашкой, Сосновский, сидя на табурете, от нечего делать оглядывал комнату.

Одна из стен заменена крепкой переборкой из толстых плах. За ней в ряд расположены секретные. Их пять. Узкие двери с крохотными окошечками открыты настежь. Видны узкие помещения, длиною не больше 2½ аршин, темные и душные. Лежать там, вероятно, приходится, согнувшись.

Железная труба от камелька коленом огибает комнату вдоль карцеров и выходит в окно.

Давно небеленые стены покрыты паутиной.

Над кроватями висят пожелтевшие фотографии в черных узеньких рамках тюремной работы: скуластые плоские лица женщин в кружевных наколках над старательно расчесанными проборами; дородные парни в сапогах гармоникой, при часах и в шейных цепочках с кистями; мужчины сидят, расставив ноги и выложив на колени огромные руки; женщины стоят, неестественно скрючив локти.

На некоторых рамках красуются бумажные розы.

Возле портретов — кандалы и наручни всех сортов и размеров висят гроздьями на прочных гвоздях.

Целая куча их свалена в углу, где стоят ломы, лопаты и метлы. На липком, черном полу валяются окурки, обрывки газетной бумаги и шелуха семячек.

На всем лежит мутный, печальный отблеск.

Изредка тяжелые, теплые капли падают с отпотевшего потолка. Они противно шлепают по столу, разбрасывая мелкие брызги.

Туалет закончен, и Сосновский смотрится в маленькое зеркальце, висящее в простенке, рядом с фотографиями. Левая половина головы покрыта темной щетиной подрастающих волос, правая блестит, как слоновая кость, своей совершенно голой кожей.

— Пейзажик мало художественный! — вслух смеется он.

Федька Осетин тоже смеется, хлопая его по плечу своей чугунной лапищей.

— Ну, теперь кандалы!

Пашка - слесарь лезет под кровать, выдвигает сундучок и, порывшись там, с торжественным видом извлекает до блеска вычищенные, новенькие кандалы.

— Вот! — он высоко поднимает их, поворачивая во все стороны.— Не кандалы, а ожерелье королевы испанской. Ювелирная вещица-с! Прямо от Сазикова.

Все хохочут.

— Пожалуйте примерить. В аккурат. Именно вас дожидались! — Хохот удваивается.

Надзиратель «мартышка» перегибается через стол и любуется артистически подделанными заклепками.

Маленькое, сжатое в кулачок лицо его и близко поставленные мигающие глазки — как нельзя лучше свидетельствуют о меткости арестантских кличек.

— Видите, — об'яснял Пашка, — с этой стороны заклепки головка, а с этой шайба. Стоит только крепко нажать и вращать шайбу влево... вот так... видите? Заклепка вывинтилась, и кандалы можно снять. Просто и удобно. Думаю патент взять. Вы как посоветуете?

— Ха-ха-ха! — закатился «Мартышка», забывая, что в качестве представителя тюремной власти он должен стоять здесь «на страже закона», а не восторгаться подобными изобретениями.

— Спасибо Павел... Павел...

— Степанович! — подсказал Пашка. — Ладно, сочтемся. За вами не пропадет... Нагляделся я на политику в Акатуе еще... Люди весьма даже сочувственные. Носите на здоровье! Ха-ха-ха!

Он опрокинул в рот чашечку водки и с продувным видом подмигнул пронзительными серыми глазками.

— Да я не о том, Павел Степанович!—сконфуженно заговорил Сосновский.—Видите ли. Относительно меня имеется секретное предписание держать по всей строгости. Механика эта ваша легко может обнаружиться и...

— М-м! Да-а! — протянул Пашка, залезая пятерней в затылок. — Это вы — правильно. Всю тюрьму перекуют тогда. Правильно... Что же делать-то?

Вся его подвижная, пронырливая фигура фабрично-мещанского типа выражала теперь полнейшее недоумение.

— Давайте уж простые! — улыбнулся Сосновский. — Эта роскошь, видно, не про нас писана.

Несколько ловких ударов молотком, и, придерживая цепь, Сосновский вышел.

— Брюки-то сумеете снять теперь? — заботливо крикнул ему вслед Пашка.

— Ну, еще бы! Не в первый раз! штука не мудреная.

Как больно ударило в глаза солнце после полумрака сушилки!

На дворе царит оживление. Мелькают грязно-белые рубахи грубого арестантского холста; развеваются серые халаты в накидку, с двумя черными тузами на спине.

Полуобритые головы большею частью прикрыты серыми суконными шапками всевозможных фасонов.

Вот форменные неуклюжие бескозырки; в них тонут «пустые котелки» несознательной шпанки.

Вот хорошо выстроченные черногорки и конфедератки лихачей-Иванов.

Народ только-что возвратился с работ.

Одни весело и оживленно болтают находу, вытирая шапками запотевшие, пылью покрытые лица.

Это—бревнотаски и вообще люди с дальних работ. Они уже отработались и могут гулять весь остальной день.

Другие, напротив, молча проходят через двор, или с угрюмым видом перебрасываются желчными замечаниями.

Эти волком смотрят друг на друга; малейшее нарушение арестантской этики, и готова вспыхнуть короткая, но озлобленная потасовка, подкрепляемая неимоверными ругательствами.

Они злы на весь мир: — на свет глядеть тошно.

Это — рабочие «от звонка до звонка».

С утра они возили уголь, корчевали пни на кладбище, рыли канавы возле новых дорог, били щебень, конопатили новую канцелярию губернатора, наваливали землю на потолок нового корпуса лечебницы.

Эти работы считаются легкими, и после обеда им снова предстоит тот же самый постылый труд из-под палки.

— За три фунта хлеба — целый день ерша глотать с хвоста — со злобой определяет арестант эти легкие работы от звонка до звонка.

— Шпана, так она шпана и есть! — небрежно роняет слова высокий, плечистый арестант в халате на одно плечо, окруженный порядочной кучкой слушателей.

Что-то знакомое лицо! Ба! Это Черный, Федор Петрович. В одном трюме ехали.

Сосновский подошел поближе.

Ему интересно было посмотреть, как обуреваемый жаждой власти тюремный Иван справляется с задачей покорения шпанки.

Уж! один костюм чего стоит! Весь рассчитан на эффект.

Белая тонкая рубаха с красным кумачным воротом заправлена в широчайшие холщевые шаровары; гибкий стан стянут широким черным ремнем с разноцветной, узорчатой строчкой; такие же подкандальники плотно, как гетры, охватывают голень, обрисовывая мощные икры.

Легкие, тонкие кандалы высоко подтянуты за середину цепи к медному кольцу на поясе; в коленях они перехвачены ременными поджильниками и почти не звенят, совершенно не стесняя движений. Ярко вычищенная цепь их отзывается серебристой короткой трелью, когда оратор, горделиво отставив ногу, слегка начинает потряхивать ею в колене.

— Сами мы виноваты! — говорит он, прищуривая поверх голов свои красивые черные глаза. — Точно быки рабочие... как надзиратель решит, так тому и быть... Скажет: — «до звонка!» — и вались, паря, полетела кобылка, будто крылья почуяла. Бугаи несмысленные! — презрительно кидает он в пространство, чутко прислушиваясь к произведенному впечатлению.

Сохрани бог — начать заискивать! Засмеют.

А заторопиться или как-нибудь иначе показать желание убедить толпу в своем мнении — еще хуже! Не станут слушать и один по одному разойдутся в силу арестантского духа — болезненно развитого самолюбия.

Хорошо знает Черный эту черту показной самостоятельности и еще небрежнее роняет слова, делая вид, что даже не замечает собравшейся толпы, а говорит так просто, для себя, отводя душу после работ в язвительной речи.

Вот чуткое ухо уловило смутное ворчанье протеста.

— Арестанты мы, или нет?! — вдруг эффектно вскрикивает он, в упор впиваясь острым, пронизывающим взглядом в протестующего.

Тот невольно пятится.

А Черный уже отвел от него свои наигранные глаза и, мгновенно обмахнув ими слушателей, пристально рассматривает что-то на сверкающих от солнца верхушках заостренных палей.

— Попали мы с «прокурором» щебень бить, — продолжает он при общем молчании, ловким движением сбросив круглую ша-

Бревнотаски.

почку с левого уха, где она каким-то чудом держалась, прямо на брови, и засунув руки в карманы. — Вот Мурзилка, чтоб ему... начинай, говорит, ребята! Вались, начинай! — Нет, ты постой, погоди начинать. Если ты, мол, унтер, так ведь мы-то, чай, не солдаты! Ты об'ясни сперва свою «прокламацию», а мы тебе свою представим; тогда, мол, и выйдет у нас «резолюция».

Слушатели сочувственно гогочут и теснее сдвигаются около рассказчика.

«Резолюцию»-то все знают; наметались, сидя по тюрьмам в бесконечном ожидании этой мудреной штуки.

Однако, все делают вид, что и «прокламация» им очень даже хорошо известна.

Умные слова льстят самолюбию арестанта, а несоответствие их с крепчайшими украшениями, которыми щедро пересыпается речь оратора, вызывает веселое настроение.

Черный отлично понимает это.

Он мастерски сплевывает сквозь зубы и, широко расставив ноги, достает из кармана кумачный кисет с кистями, быстро набивает японскую трубку с медной чашечкой на длинном фарфоровом мундштуке и, закусив ее под черными, как смоль, усами, медленно двигается ко второму корпусу.

Там, на высоком крыльце, вокруг ушата с баландой, видны уже суетящиеся фигуры с деревянными бачками, и мелькает черпак на длинной рукоятке.

— Куда ж ты? — раздаются возгласы.

— Куда? Разве не видишь, баланду принесли — как-будто хладнокровно говорит Черный. На самом же деле он с трепетом ожидает, что вот-вот горячая баланда, дразнящая голодные желудки далеко разносящимся запахом черемши, разрушит обаяние его искусства покорять шпанку.

— Дай-ко огня! — обращается он в пространство, делая гримасу и перекатывая мундштук в угол властного сухого рта.

Появляются спички.

Толпа остановилась и готова слушать развязку прений с надзирателем.

Баланда забыта. Победа полная.

Больше ничего и не нужно Черному.

Закурив трубку, он уже быстро идет через двор в сопровождении слушателей, со смехом выкрикивая на ходу:

— Мурзилка кричит: «до звонка! до звонка!» Суетится вокруг нас... А мы подмигнули кобылке, легли на землю, закурили себе... — На урок! — говорим: — да и все тут. Мурзилка прыгает, аж конвой смеется. Стоят кругом нас «духи», оперлись на винтовки и смеются с него. Видит он, дело плохо. Плюнул: — Чорт с вами, — говорит: — валяй на урок! Как вскочим мы все, как пошли щелкать... Через два часа урок кончили. Домой пришли — девяти часов не было. После Мурзилка жалился полоротому: — не надо мне ни «прокурора», ни Черного! После обеда, мол, пусть остаются дома; мука с ними одна! Полоротый позвал было нас... да только рукой махнул.

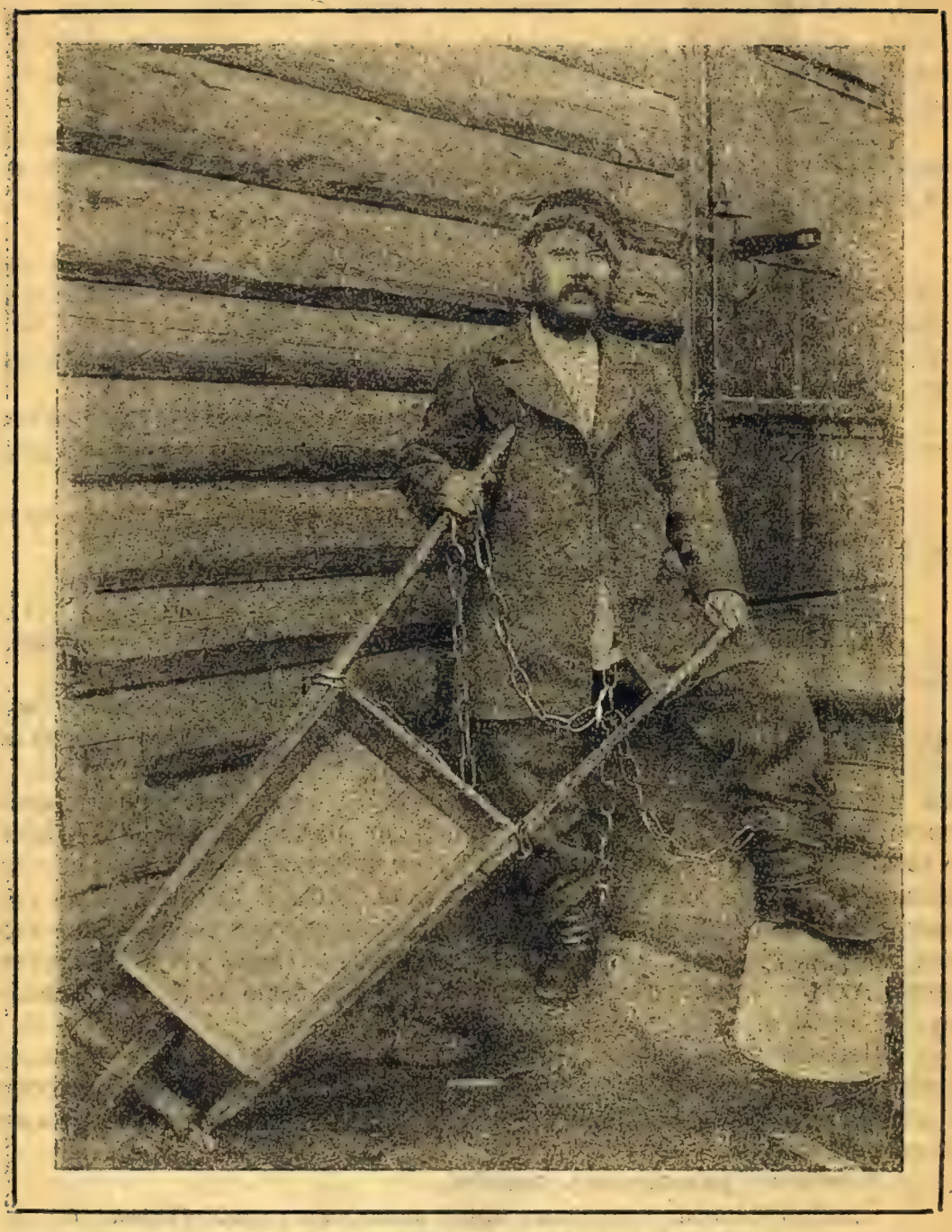
Черный захохотал и, в два прыжка взлетев на крыльцо, молодцевато прошел в камеру, волоча по полу край спустившегося с плеча не серого, а синеватого, «хорошего» халата с маленьким тузом на спине.

Компания разразилась смехом.

Одобрительные возгласы, приправленные невероятными по количеству этажей небоскребами, полетели вслед сразу завоевавшему симпатии толпы оратору.

Сосновскому есть совсем не хотелось, и он остался на дворе, с любопытством наблюдая новые для него картины.

Оживление кругом него все росло.



Тачечник.

Изредка, с громом и треском распахивались гигантские ворота, и запоздавшая партия лавиной врывалась во двор.

С неистовым гомоном, гиком и звоном цепей неслась серая масса, перепутываясь живым клубом в воротах и ручьями разбегаясь оттуда по своим помещениям.

— Ишь, кобылка проклятая! — с улыбкой говорил высокий, могучий старик-тачечник, постукивая оземь своей «супругой».

Длинная цепь этой оригинальной «супруги», начинаясь от середины между рукоятками, обматывала раза три одну из них и шла к большому кольцу на поясе, где прикреплялись также и кандалы.

На старике были собственноручно-сшитые засаленные штаны из «шубной» кожи, сапоги до колен с твердыми, как лубок, голенищами, вместо подкандальников, и заправленная в брюки холщевая рубаха, перешитая на подобие блузы со множеством аккуратных сборочек.

Полуобритый череп не был прикрыт ничем, а широчайшая борода с проседью веером рассыпалась по плечам.

— Хорош! хорош! — улыбаясь, говорит он, глядя на странную процессию.

Двое арестантов, воровато оглядываясь, ведут под руки третьего, руки и ноги которого представляют какие-то круглые вальки, под разными углами прикрепленные к толстому, как перина, туловищу.

Точно последняя степень водянки тяготеет над несчастным. Но веселое плутовское лицо оставляет некоторое сомнение в его болезненности.

Кортеж движется довольно быстро. Обливаясь потом, товарищи влекут толстяка по двору, старательно укрывая его от надзирательских взоров.

Запыленные коты его широко расставленных ног беспомощно волокутся по земле в тщетных попытках еще ускорить шествие.

Сухие, мозолистые кисти рук кажутся до смешного маленькими, торча в стороны из двух коротких обрубков.

— Муку возили, дедушка! Тебя не минует! — кричат все трое и с хохотом взбираются на высокое крыльцо под прикрытием сочувствующей публики.

— Знаю, знаю я вас! И говорить не надо! — ворчит тачечник, набирая баланды не в деревянный бачок, как другие, а в чистый жестяной тазик.—То «асмодеем» зовут старика Пазульского (асмодей — скопидом), Кащеем ругают, зачем живу аккуратно, не швыряю деньги на карты, да Иванам не поддакиваю, — говорит он камерщику, стоящему возле ушата с баландой. — А как нужно что сбыть, так к кому идут? — к Пазульскому. У кого на чистые денежки всякий фарт менять? — у Пазульского. Тогда: — дай,

дедушка, не оставь! Знаю я! То-есть, на аптекарские граны давно всех вас я взвесил!

Камерщик сочувственно кивает головой и растягивает рот в искательную улыбку.

Он сам в долгу у Пазульского и боится перечить.

В дверях вырастает статная фигура Черного.

— Сейчас придет Мотчик. Так ты, Федченко, отпусти ему баланды, — говорит он камерщику, небрежно взглядывая на тачечника.

Перевозка муки.

— Что ли свою отдаешь? — язвительно спрашивает Пазульский.

— А хотя бы и свою? Тебе-то что, асмодею? — в пол-оборота насмешливо бросает Черный, вновь исчезая за дверью.

Желтый, заплатанный халат робко протягивает за баландой какую-то подозрительную посудину и быстро мчится в камеру с дорогой ношей.

— Вот оно!—сентенциозно изрекает вслед ему Пазульский.— Подобия человеческого не видно. Рваный, грязный... босый и голый; все спустил до нитки. Место на нарах — проиграл; хлеб чуть не на десять лет вперед проиграл; третьего дня баланду, и ту проиграл. Зубами щелкает, а все «к шестерке» тянется, все штосс на уме день и ночь; как одержимый какой. Тьфу! я бы тебя — продолжает он уже сам с собою, медленно катя в тачке чашку с баландой, — я бы тебя неделю проморил без жратвы-то. Подыхай, собака! Небось, опомнился бы!

— Борис Иванович! Здравствуйте! — радостно крикнул позади Сосновского чей-то знакомый голос.

— Тиманов! Голубчик, это вы? — обрадовался поспешно обернувшийся Сосновский.—Вот неожиданная встреча! Вы в каком же номере?

— В четвертом. И вы тоже там? Отлично. Идемте обедать. Рядом и расположимся. Из ребят один Черный с нашего сплаву. Остальные старые... Да у вас и кандалы не обложены как следует... Идемте же, идемте.

В номере между тем слышалось чавканье проголодавшихся людей и шумное хлебанье простывшей баланды.

Оживленный гомон прерывался взрывами смеха: в углу разоблачали «архирея»; водяночный толстяк беспомощной горой лежал на нарах, не будучи в состоянии сесть.

Двое подручных распаковывали его штаны, крепко завязанные веревками у лодыжек, а один махал воображаемым кадилом и, строя отчаянные гримасы, патетически пел:

— Ис-полла-эти-дэ-эспота-а!

Публика ржала, позабыв усталость и недавно трещавшие под шестипудовыми мешками спины.

Наконец, завязки распутаны, и мука хлынула в подставленные мешки.

Ноги «архирея» мигом похудели, и он с облегчением сел на нарах, пока ему распускали пояс, чтобы выпускать муку из верхнего отделения.

В эту минуту дверь внезапно распахнулась, и на пороге показалась низенькая, наивная фигура полоротого.

Все замерли... Но в тот же момент в противоположном углу Черный схватил своего соседа за горло и жестяным тазом принялся лущить его по чему попало, производя адский грохот и неистово ругаясь.

Внимание полоротого немедленно было устремлено к месту скандала, а за его спиной целый десяток рук мигом привел в порядок «архирея» и уничтожил всякий след преступления.

— Ты что же, Черный, бунтуешь? — торопливо залепетал старшой, робко подходя к сцепившимся противникам.—Так нельзя, паря! Это, паря, не закон—так поступать...—смущенно говорил он жиденьким тенорком, тараща и без того круглые, бесцветные глазки.

Напрасно старался он придать решительное выражение своему простодушному лицу. «Лик полоротого» по выражению шпанки, неизменно хранил всегдашнее свое глуповатое и слегка сконфуженное выражение.

Черный, видя, что дело в углу улажено, как ни в чем не бывало, принялся за еду, мирно черпая баланду из одной миски с товарищем, которого сейчас, только-что, казалось, колотил не на живот, а на смерть.

Старый надзиратель смущенно оглядывался по сторонам, топчась на одном месте, но все сосредоточенно уткнулись в свои чашки, сдерживая готовый прорваться смех, и молчали.

— Ах, вы здесь?—остановил он, наконец, свой растерянный взгляд на Сосновском. — Ну вот, теперь по форме! Покажите-ка ваши кандалы!

Он жадно наклонился к заклепкам, потрогал их рукой, нажал и, с недоумением взглянув на улыбающееся лицо Сосновского, сконфузился.

— Ничего, живет!—пробормотал он и пошел к дверям, придерживая болтавшуюся шашку.

— Чего это он? — спросил Тиманов, нарезая хлеб, пока Сосновский налаживал подкандальники и закреплял цепь к поясу.

Тот вполголоса рассказал предложение Орлова и всю сцену заковки. Тиманов только головой покрутил.

— Ну, это прямо бог спас тебя, Борис Иванович, что во-время от с'емных кандалов отказался. Истинно он надоумил. Ясно — мину под тебя подводили. И мина эта откуда-то сверху идет, от начальства... Да! Механика хитрая! Плетей не миновать, если-б открылось.

Сосновский вздрогнул.

— Но кому я помешал? У меня нет врагов!—с негодованием вскричал он, опуская ложку.

— Ну, этого я не знаю, а только Орлова опасайтесь отныне. Да и, вообще, доверяться здесь никому не следует.

— Действительно! — с горечью подумал Сосновский, — как нет врагов, когда налицо следы их действий? Но кто? Кому я мешаю и в чем?

— Ну ладно, Борис Иванович. Не кручинься. Мы все это вызнаем. У меня племяш есть. По одному делу со мной. В четвертом корпусе он сейчас. Там и Орлов живет, в надзирательской. Племяннику и поручим выведать. Парень не промахнет. А пока новоселье справим, да и стариков заодно угостить надо. Это уж обычай такой, не отнекивайся. Чего? Денег нет? Эх, милый! Что деньги? Пустое это. После отдашь, у крали своей спросишь. Люди дороже; а люди обычай старинный почитают. Не исполнишь— коситься станут.

— Ну, как знаете! — махнул рукой огорченный всем этим происшествием Сосновский,—только расходы пополам. Иначе я не согласен.

Они встали с нар и подошли к майданщику, вместительный ящик которого гостеприимно раскрывал свои соблазнительные недра.

Разделенные множеством перегородок, лежали там многочисленные сокровища.

Готовые папиросы тюремного изделия двух сортов: из настоящей тонкой бумаги с мундштуками и так-называемые «дудочки» из обыкновенной, писчей.

Спички в пачках и просто в коробочках сложены были стройными колоннами.

Дратва, толстые нитки в мотках и тонкие на катушках; пачки иголок, бумага, перья и карандаши, конверты, сургуч — все занимало свои строго определенные места и содержалось в образцовом порядке.

Ни для кого не было тайной, что в сокровенных уголках двойного дна этого магазина мирно лежали колоды карт, и хранился спирт в плоском бидоне в несколько бутылок вместимостью.

На откинутой крышке заманчиво улыбалась какая-то восточная красавица, сверкая головным убором из золотых монет.

В облаках над ее головою виднелась надпись: — Ралле и К°.

Рядом с ящиком на очень низеньком столике, стоящем тоже на нарах, помещались ярко-красные куски соленой кеты и два больших белых хлеба, покрытых холщевой тряпкой.

Сверху лежали весы. Листовой табак «маньчжурка», аккуратно расправленный, приютился тут-же. Большой нож с тонким лезвием был засунут между столиком и сундуком.

Владелец всех этих сокровищ, Аджали, подобрав под себя ноги, чинно пил чай вместе с Черным и крупным большеголовым арестантом, по кличке «Муха».

Пока Тиманов шептался с Аджали, Сосновский приветливо поздоровался с Черным.

— Ловко вы, Федор Петрович, глаза отвели полоротому! Ведь надо же было догадаться такой тарарам устроить! — смеялся он, заодно пожимая и громадную пятерню, величественно поданную ему Мухой.

Тонкий слух последнего уловил среди шептанья Тиманова и Аджали магические слова:—две бутылки; и этого было довольно, чтобы новоприбывшие выросли в его глазах на целую голову.

Красный рубец, перекосивший его висок и щеку до самого рта, принял от удовольствия вишневый оттенок, а огромный рот с белыми и острыми, как у волка, зубами радостно осклабился.

— Будем-те знакомы! Вижу, что стариками не гнушаетесь, хотя и не нашего прихода вы. Ничего, пригодимся... Ежели чуть-что, только мигните — и во! Видите?—он поднял волосатый кулак каких-то прямо доисторических размеров. — Гроб с одного маху!

Быстрым движением Сосновский схватил поднятый кверху кулак и нажал изо всей силы ямочку между костями третьего и четвертого пальца, по японской системе.

От сильной боли и неожиданности Муха разжал руку и вытаращил глаза.

Потом он залился громовым хохотом и так хлопнул по спине согнувшегося над ящиком Аджали, что тот завизжал на всю камеру и ткнулся носом во все свои сокровища. Крышка закрылась и

стукнула его по пегому черепу, что еще больше усилило веселость расходившегося гиганта.

— Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! — гремел он, топоча ногами. Да вы и сами не из слабеньких! Вот это я люблю! Руку, то-варищ! Вот так политика! Ах, язви его!

Он тряс и тискал руку Сосновского своими железными клещами, так что тот должен был призвать на помощь все свое самообладание, чтобы не скорчиться и не закричать от боли.

Даже Черный, за все время двухмесячного знакомства, в первый раз взглянул на него с чувством некоторого уважения. Остальные обитатели камеры добродушно посмеивались.

С нар волчком сорвался маленький, юркий арестант и, строя уморительные гримасы, подскочил к Сосновскому.

— Позвольте представиться! Яшка Дергач прозываюсь!—балаганил он при общем одобрительном смехе. — По вольной жизни— гравер, но убеждений, как и вы, самых политических. Основы подрывал государственного строя: денежные знаки орудовал... За уголовщину сочли единственно вследствие судебной ошибки. Клянусь красотой!

Он закатил глаза и патетически ударил себя в грудь. Потом прищелкнул пальцами и, сделав ловкий пируэт, рассмеялся.

— Прокурор непонятливый был. Уж я ему мигал, мигал... и так, и этак... не понимает. Ах, елки зелены! Так и закатали меня в сие злачное место. Но ничего! Святое искусство поможет; выплывем. Вот извольте взглянуть! От руки, безо всякого струменту! Всегда к вашим услугам. По двугривенному за штуку. Не дорого?

Он выхватил из кармана синенькую кредитку и сунул ее Сосновскому.

Тот с любопытством стал ее разглядывать.

— Ловко сработано. Только почему же у Дмитрия Донского как-будто каска на бок с'ехала?

— Сойдет и так! Даже лучше еще! Потому, русский человек завсегда шапку на бок носит. А Дмитрий Донской, чай, не какой-нибудь немец был, чтобы на нос ее надвигать!

Сосновский только головой покачал.

— Как же вы рассчитываете выплыть? Ведь если еще раз засыпетесь, то вам каторги лет десять прибавят.

— Ах, ах, ах! — Яшка Дергач притворился, что падает в обморок. — Спирту мне, спирту! Только не нашатырного! — слабеющим голосом стонал он. — Аджали! — Спаси меня... Нервы сейчас все перелопаются! Не даешь, татарская лопатка? Умри, погубитель души моей! Молись Аллаху! Кожаная пушка, что метит в пятку, а попадает в нос, — на-прицел! Пе-ер-ва-ая!..

Перевернувшись на нарах, он встал на четвереньки и между своих ног глядел на Аджали, прищурив один глаз, как-будто прицеливался.

Тот, схватив нож и свирепо вытаращив белки, ринулся к Яшке, но, схваченный могучей рукой Мухи за пояс, был поднят на воздух и с треском водружен на старое место.

Камера гремела от хохота.

— Эй! Кто с ближних рабо-от... По-ше-ел, вы-хо-ди-и!—пронзительной нотой врезался в общий гвалт гнусавый голос надзирателя Полещука, и его длинная, нескладная фигура на минуту показалась в дверях.

Общее настроение мигом испортилось.

Лениво, нога-за-ногу, стали собираться арестанты и медленно поплелись к выходу.

Камера опустела. Осталось человек пять с дальних работ, да из-под нар неслось мирное похрапыванье, и торчали грязные, голые ноги Мотчика.

В мгновение ока слопав баланду, великодушно уступленную Черным, он завалился спать и теперь был на воле, далеко от каторжного острова.

Но и самый сон его носил беспокойный, специфический оттенок.

За большим, грубо сколоченным столом городского притона заседает веселая компания с Васькой Беспалым во главе.

Тускло чадят висячие лампы в душной атмосфере, насквозь пропитанной парами водки, разврата и пота.

Жалкое тявканье разбитого пианино доносится из соседней комнаты, на заплеванном полу раздается топот и шарканье танцующих.

И вот входит он, Андрей Иванович, купеческий сын, в синей, тонкого сукна поддевке и лаковых сапогах с мелким набором.

Все, конечно, в восторге.

Он был тут желанным гостем. Его «обставляли», и это обеспечивало ему популярность и покровительство.

Мечет штосс Васька Беспалый.

Как стая ворон на падали, его облепили со всех сторон гомонящие игроки и просто любознательные зрители.

Иные всем телом навалились на длинный край стола и друг на друга, чтобы видеть. Их головы образовали неровное, косматое кольцо пестрых пятен; оно точно переливается над грудой копошащихся, лезущих друг на друга лохмотьев.

Андрей тут-же на почетном месте.

С перекошенным от волнения лицом, с горящими глазами и трясущейся нижней челюстью, весь подавшись вперед и судорожно вцепившись в край стола, впивается он взглядом в свои исчезающие ставки.

В карманах пусто. Растерянно хватаясь за них, коснеющим языком предлагает он на ставку свою одежду.

— Робу нельзя!—наставительно говорит ему Васька.—Батьке засыпешься. Спустит он с тебя шкуру, да в монастырь, под начал тебя. Прощай тогда развеселая жисть!

— Да как-же это?.. Не могу же я так?.. Все сердце... г-горит!— заикаясь, бормочет Андрей и чуть не плачет.

— А вольно тебе по десятке носить! Дурак ты, брат! Ты «цапни» сразу всю выручку, да и «щикатулку» прихвати. Есть, чай, такая у тятьки. В головах, поди, возле кровати поставлена.

И Андрюха «цапнул».

Тут сон начал принимать характер кошмара.

Ах, как страшно вскрикнула мать, когда его привели под конвоем с поличным.

Дико, пронзительно вскрикнула и, схватившись за сердце, упала, чтобы не встать больше.

Как побледнел и затрясся отец и, сжав кулаки, бешено ринулся к сыну, позором покрывшему его седую голову!

Как бился он в руках подхвативших его полицейских и с пеной у рта, безумно потрясая руками, гремел:—В тюрьму! под замок... Ты не сын мне! Будь анафема—проклят!..

В ужасе Мотчик вскрикивает и просыпается.

— Ах, будь ты проклят, анафема! — орет кто-то над самым его ухом. — Ишь, дьявол тебя задави, жигана, куда забился! Ищу, ищу—нет его! Словно черти слопали... А он — вон он!.. дрыхнет! Ах ты!..

Тут властная рука надзирателя схватила тощую ногу, видневшуюся из-под нар, и оторопевший со сна Мотчик, мигом исторгнутый из своего логовища, предстал пред раз'яренные очи начальства.

— Что такое? Что нужно? Кто зовет? — растерянно бормотал он, еще не вполне очнувшись от тяжелого кошмара.

— Что? — язвительно подхватил надзиратель, едва сдерживаясь, чтобы не «распотрошить» торчавшую перед ним нескладную фигуру. — Кто зовет?.. Их пр-во... господин губернатор зовет! К чаю вас ожидать изволят... Вот что!

Мотчик мялся, испуганно глядя на своего мучителя. Его испитое лицо, без бороды и усов, длинный кривой нос, огромный рот и бритый наголо, заостренный затылок были смешны и жалки.

— На раб-боту, эфиоп ты коричневый, образина твоя востроголовая! Слыхал, чай? На ра-боту! — заорало начальство во весь голос, схватывая беднягу за ворот. — Да ты — что? С ума спятил? Думаешь — тридцать получил за промот, так и ручки скламши сидеть можно? К ордену тебя за эфто приставить?.. А конопатку кончил? А надзирательская выметена? А бочки под стоком поставлены?

Каждая фраза сопровождалась короткой встряской.

— П-шел!—заключил свою речь в конец измученный надзиратель таким здоровым пинком, от которого точно крылья выросли у долговязой, нескладной фигуры: зашлепали неуклюжие коты на тощих ногах, взмахнули рукава желтого халата и, раздувая

короткие полы его, Мотчик птицей пронесся по скользким ступенькам высокого крыльца.

— Мука-мученическая с этими «хвостобоями»—усталым голосом пожаловался надзиратель, с сознанием исполненного долга тяжело опускаясь на табуретку возле столика и принимаясь свертывать папиросу.

— Вот это верно!—насмешливо подхватил Черный, спокойно созерцавший всю сцену вместе с Сосновским и Тимановым.—Верно, верно, Федотыч! Бьетесь, бьетесь вы с ними, как я погляжу, инда ручки себе все обколотили, а все никакой благодарности. Что бы это значило, уважаемый? Как вы думаете?

Здоровый детина Федотыч смущенно хлопал глазами, не зная, как понимать надо обращенные к нему речи, а тюремный Иван покручивал черный ус и насмешливо покачивался перед ним, изгибая свой стройный, узорчатым ремнем перехваченный стан.

С размаху вылетев на давно опустевший двор, Мотчик остановился, почесал затылок и, ругаясь вполголоса, лениво поплелся к новой бане.

На кое-как сбитых подмостках, вдоль стены, там виднелось уже несколько мрачных фигур, с недовольным видом стучавших деревянными колотушками.

К ним-то и направился Мотчик нога-за-ногу, шаркая огромными котами и уныло поглядывая по сторонам.

Заинтересованный всей этой сценой Сосновский пошел туда-же.

За время обеда пролил короткий, но сильный весенний дождь. На дворе стояли лужи, с крыш капало, а хмурое небо имело такой вид, будто вот-вот сейчас снова пустит на землю потоки холодной воды.

Порывистый ветер то на мгновенье стихал, то снова принимался тянуть свою унылую песню над вершинами темно-серых от дождя полей.

— Что? Сорвалось, видно? Не пришлось плесом ударить?—злорадно бросил подошедшему Мотчику сухой, желчный арестант, с таким озлоблением загоняя в паз кусок пакли, точно она была его личным врагом.

Остальные угрюмо молчали, косясь на подошедшего Сосновского. Промолчал и Мотчик.

Всем было не по себе; погода не располагала к шуткам.

— Бросайте, ребята! Закуривай!—раздраженно буркнул, наконец, все тот же арестант, кладя колотушку на подмостки и доставая кисет с табаком.

— От работы и кони дохнут, — поддержал Мотчик. — «Им» сколько ни работай—все мало.

В глубине души он лелеял теперь одну надежду — «подстрелить» у кого-нибудь табачку, и повторял арестантские прописные истины решительно безо всякого интереса.

— Только бы в разговор втянуть!—дипломатично думал он.— А то сидят, идолы, ровно каменные! Тут не подстрелишь!

Видя жадные взгляды, которыми Мотчик провожал каждую затяжку соседа, Сосновский подошел вплотную к подмосткам и, свернув себе цыгарку, бросил кисет к нему на колени.

— Закуривайте! Бумажка там внутри!—крикнул он удивленно смотревшему вниз Мотчику. — Соседи по камере мы с вами, кажется!

— Соседи-то соседи, да только не по этажу! — улыбнулся тот.—Спасибо тебе, добрая душа, век не забуду!... Я вот, по воле жил за батюшкой с матушкой, не знал, какая она такая работа бывает, — словоохотливо начал он, свертывая огромную цыгарку дрожащими пальцами и возвращая кисет Сосновскому.

Остальные исподлобья, недоверчиво разглядывали подошедшего, выжидая—что будет дальше.

Непрошенное вмешательство Сосновского в чужую компанию без обычного опроса:—можно к вам, старики? — нарушало кодекс арестантских приличий, но приветливый вид его и товарищеское одолжение несчастному, забитому Мотчику искупало эту вину в значительной степени.

— На черный-то хлеб и смотреть не хотел, бывало!—продолжал Мотчик.—На булках, можно сказать, испытан (воспитан)... А теперь:—табаку—вон который день и не видел даже.

Запалив цыгарку, он с наслаждением затянулся, при чем в узкой, клинообразной груди его что-то хрипело, стонало и булькало.

— Теперь вот работаю; а что толку? Хоть пополам перервись, все едино больше трех фунтов казенных не дадут. Да это и так мне обязаны дать: загнали—дальше некуда, да еще не кормить бы! Я ведь у них сюда не просился. То-есть, кабы не карты, не штосс, — ни минуты не жил-бы здесь! Либо петлю на шею, либо ушел бы куда глаза глядят. Все едино работать, так хоть на себя! не в пустую, по крайности!..

— Это ты-то работать? Эк, «заливать» здоров ты, Мотчик,— не вытерпел бросивший колотушку и подсевший к ним сосед с другой стороны, обрюзглый, болезненный человек; бритое лицо его напоминало антрепренера какого-нибудь захудалого провинциального театра.

На самом деле, он был когда-то рассказчиком и куплетистом бродячей труппы и любил поговорить об этом в приподнятом духе, называя себя не иначе как «мы—артисты» или «мы—люди свободных профессий»!

— Чего заливать?—обиделся Мотчик.—Это вы зря, господин Громобоев... Я, как перед истинным! Почему ж не работать? Тем более на себя, примерно! Нешто я себе враг? А что касаемо карт... то что же, коли в них вся душа моя? Без них мне петлю на шею,

и амба (конец). На что мне работать без них-то? Мамон-от набить? Да много-ль мне надо? Гляди. На Рачково (кладбище) скоро пора. Нутро, чай, совсем от пищи отвыкло, не принимает уже. Для чего и работать-то мне, как не для карт? Господа вон в киятеры ходят в книжки читают; говорят: для души, мол, все это. Говорил я с одним. Заладил одно: читай, мол, в книжках; душу в себе почуешь человеческую, и вся короста эта с нее, значит, слезет.

— Ну, и что же? — с оттенком презрения полюбопытствовал Громобоев, пуская дым тонкими струйками и подмигивая Сосновскому.

Остальная публика, тоже бросив работу, с интересом прислушивалась к беседе.

Им — записным игрокам — тоже интересно было послушать апологию штосса из уст такого беззаветного жреца зеленого поля, каким был Мотчик.

— Да что, — оживленно подхватил он, польщенный общим вниманием.— Брался я и за книжки... Только все бесполезно. Темно таково. Ничего тебе не понять. Либо книжек нет хороших, настоящих. Только пуще душа с них тоскует. Нет! карты! Одно спасенье от петли! Как зальешься, как пойдешь щелкать по очкам... Тут, брат, все забудешь. Душа затрепещется. Не знаешь: — то-ли в рай залетел, то-ли куда еще выше. И про мамон забудешь. Ничего мне тут не надо. Последнюю одежу снимешь... На кобылу с легким сердцем идешь. А без карт? Да разве мог бы я эстолько вынести? Крепят они душу, карты-то! Вот на что они нужны мне. Потому и просит душа... Потому и сердце сосет, ровно змей какой, день-деньской!.. Не для брюха работать я стал-бы по вольной-то жизни, а для них. Чтобы душу свою утолить! Чтобы светлое место хоть какое в жизни увидеть. А вдруг «фортанет»! Да выиграю тыщ несколько... да тут...

— Да что же это будет, наконец?!—раздался над ними чуть не плачущий голос.

Увлекшиеся собеседники вздрогнули, точно пробудившись от сна.

Снизу, из-под помоста, смотрел на них надзиратель Полещук, и его угреватое лицо изображало гнев и отчаяние.

Даже Сосновский, стоявший внизу, не заметил, как он подобрался.

— Что ж вы, ребята, делаете со мной? И всего-то десять венцов пройти надо было... а ведь пятеро вас! С меня ведь начальник-то взыщет. Нет, уж вы как хотите, а кончайте, ребята. Это что ж такое? Нельзя просто с глаз спустить! И чайку не напейся! А тебя, Мотчик, в раскомандировку велено, — помолчав, добавил Полещук совершенно другим голосом.

Видно было, что плачущий, жалобный тон вошел у него в привычку, составлял неот'емлемую принадлежность всех официальных разговоров с подчиненными ему «хвостобоями».

Так называла кобылка тех членов своих, которые, желая отдохнуть денек-другой от тяжелых работ и не будучи в состоянии отыскать у себя никакой болезни и, следовательно, попасть в лазарет, просились у доктора в «слабые» или на отдых.

Для этих-то слабых и придуманы были так-называемые «домашние работы»—мера, которую редкий из них долго выдерживал.

Извольте-ка быть целый день на побегушках. Кончил одно, дают другое. То кончил, а уж десять дел наготове.

Избегнуть этого мыканья можно было только работая так, как это делали наши философы-конопатчики.

Но и в этом случае приходится с утра до вечера выносить пиленье Полещука, или брань и тычки Федотыча.

Редким счастливцам из «хвостобоев» удавалось отвести, как они думали, глаза доктору и удрать в лазарет.

— А по мне что?—ворчал Мотчик.—И слава богу! Не видал я что-ли раскомандировки-то? Да в тысячу раз лучше под бревна идти, чем тут целый день мыкаться... По крайности, в 10—12 часов отработался и ходи себе...

— Ну вались, вались! Не очень-то рассусоливай! — прервал его надзиратель. — Кончай, ребята! С вас, господин Громобоев, особенно спросится. Потому, вы заместо работы, только разговоры разговариваете.

Снова защелкала колотушка коротким звуком, слегка хлопающим в мокрой от дождя пакле.

Изредка раздавалось шипенье, или отрывистая непечатная брань господина Громобоева, который без привычки частенько отбивал себе пальцы.

— Фу ты, дьявол! Нет, непременно в раскомандировку буду проситься сегодня у «старшого» — с сердцем швырнул он молоток на подмостки. — Сил моих нет. Просто все пальцы перепортил. Мотчик, кончай за меня, голубчик. На тебе папирос, бери хлеба пол-пайка, как принесут. Кончай только!

— Ладно, давай!—отозвался тот, становясь на место Громобоева, и колотушка с удвоенной быстротой замелькала в костлявых руках.

А человек «свободных профессий» поудобнее умостился в сухом местечке под крышей и лениво попыхивал самокруткой-пушкой в длинном камышевом мундштуке.

День догорал. Смутным заревом вспыхнуло небо на западе. Темно-фиолетовые тучи с багряной подбивкой разорванными массами тяжело ползли на ярко-оранжевом фоне вечерней зари. Только тучи одни и были ведь видны из-за высоких палей.

ГЛАВА VIII.

Ветер стих. К ритмическим грозным раскатам морского прибоя примешалось нестройное гуденье человеческих голосов.

Ближе, ближе... Послышалась команда, топот многочисленных ног на плотно убитой земле. Жадно раскрылись широкие ворота.

— Ну, кобылка валится!—произнес Мотчик, оборачиваясь.

— Промокли, поди! — сочувственно добавил он, глядя, как в молчаливом озлоблении катился вал с'еженных серых фигур; только цепи враздробь позвякивали, наполняя весь двор унылыми звуками.

— Ворота тесовы растворилися. На широкий двор гости в'ехали... — орал во все горло всегда верный себе Яшка Дергач, с комической важностью выступая впереди всех и широко разводя руками.

Но на этот раз никто не оценил его балагурства.

Продрогшие, измученные люди стремительно разбегались по камерам, спеша к горячему кирпичному чаю.

Легкий пар вился над ними в вечернем прохладном воздухе, золотясь в последних лучах заходящего солнца.

— Баста! Кончал базар!—воскликнул, наконец, Мотчик, спрыгивая на землю и расправляя затекшие ноги.

— Брр... холодно-то как! Вот бы чайку теперь горяченького... с хлебцем, с паечкой!—говорил он, сладострастно втягивая в себя воздух и поглядывая на широкую спину господина Громобоева.

Этот последний беспомощно болтал коротенькими ножками, навалившись животом на край высоких подмостков.

— Ишь, бултыхается, чорт брюхастый!—мелькнула в голове Мотчика шаловливая мысль, но сейчас-же он вслух прервал ее, подхватывая шарившую по стене ногу. — Сюда, сюда, господин! Дозвольте, я поддержу!

И через минуту господин Громобоев, тяжело отдуваясь, благополучно стоял на твердой земле.

Остальные сотрудники давно уже слезли с лесов и ждали теперь Полещука, чтобы сдать законченный урок.

Один побежал за ним в надзирательскую, между тем как другие, стараясь принять самый непринужденный вид, небрежно поглядывали по сторонам и похаживали около бани.

Но все ухищрения остаться незаметными не привели ни к чему.

«Эх, христовы да—вы работнички,
Удалы да хвостобойнички!»

Лихой присядкой прошел мимо них весельчак Пшеничный, ударяя на подобие бубна в пустой жестяной чайник, и скрылся в дверях сарайчика.

Оттуда клубился горячий пар, и доносилось галдение шпанки, жаждущей кипяточку.

— Коли ты каторжный, так работать должен. На то и в каторгу тебя начальство прислало. Надеется, значит! — убеждал их громадный, добродушный увалень, известный под именем «дяди Сарая».

«Слабые» ругались на чем свет стоит, дрожа от холода и от злости.

Кругом хохотали.

— Пойдем-те, барин, в камеру. Ну их, глотов проклятых! — вполголоса говорил Мотчик, осторожно подхватывая господина Громобоева под руки и устремляясь на крыльцо. — Где ваш чайничек? Кипяточку?.. Я мигом!

И скоро можно было видеть, как нескладная тощая фигура его в коротком желтом халате суетилась сзади всех у дверей вожделенного сарайчика.

— Кипятку давай! Скорей давай! Барин не ждет! Видишь — чайник медный 96-й пробы!—кричал он, тщетно стараясь покрыть общий гвалт и простирая руку с чайником высоко над головами в темноту сарая, кишащую паром и руганью.

Заря потухла. Темные тучи тяжелым кольцом осели по краям горизонта. Заметно стемнело, и над кандальным двором робко затеплились звезды.

Сосновский поднялся на крыльцо.

В длинном коридоре 2-го корпуса две висячие лампы красноватым светом своим озаряли оживленную толкотню.

Поминутно хлопала входная дверь, и визжал ее допотопный блок; холодная струя воздуха врывалась тогда в коридор, и лампа вспыхивала ярче обыкновенного, пуская длинные языки пламени.

Толпились грубые холщевые рубахи; изредка развевались халаты, лихо накинутые на одно плечо; вперебивку топали босые ноги, слегка позвякивая подтянутыми кандалами; тускло поблескивали полуобритые головы.

Тихонько пробираясь между суетящимся народом, Сосновский прохаживался по коридору, заглядывая в камеры.

Настежь открытые двери мало способствовали тому, чтобы рассмотреть внутренность «номеров». Мешали гирлянды грязных, вонючих штанов и портянок. Казалось, полчища громадных летучих мышей, вампиров и всякой другой нечисти реют по всем направлениям. Их испарение тяжелым туманом заполняло воздух. Окруженная тусклым ореолом, висячая лампа едва мерцала сквозь этот туман, оставляя в полумраке входящих и выходящих людей.

Смутно виднелась печка, длинным белым пятном выдвигаясь из середины правой стены.

В глубине каждой камеры холодно и неприятно чернелось огромное квадратное окно с мелким переплетом и массивной железной решеткой.

Неприветливость, мрачность этой картины, видимо, никого не удручала: привыкли.

Сброшены мокрые лохмотья; отощавшее брюхо распарено горячим чайком; отошли и обсохли продрогшие, усталые члены... А там, в четвертом номере сам Александр Иванович Шаров с таким захватывающим интересом рассказывает все подробности ограбления Сибирской золотой почты! До скуки-ли тут?

Сосновскому все это страшно интересно

— В четвертом номере после поверки игра будет... — доносится до него.—Сам Шаров, говорят, штосс заложит... Меньше как по катьке на ставку не швыряет.

Все оживленно толкуют и суетятся.

Но, кажется, больше всех суетится Мотчик.

Он обегал уже всех закладчиков или «отцов», как с иронической почтением зовет их тюрьма.

Никто не дает больше пятиалтынного за желтый халат, да и то с условием — к утру отдать тридцать копеек, или заклад пропадает.

О котах он не беспокоится. Двадцать копеек — цена известная.

А вот кстати и покупатель.

— Эй, Аджали! Берешь что ли коты-то?

— Вазмом, вазмом! Всэ вазмом. Хады за мной! —на-бегу отвечает озабоченный майданщик, тщательно укрывая что-то полой своего халата.

Мелодичное бульканье и позвякиванье слышится изощренному уху Мотчика, когда он стремительно бежит за своим благодетелем в глубину четвертого номера.

Следом за ним идет и Сосновский.

— Что-ж вы, Борис Иванович, запропали? — ворчливо встретил его Тиманов: — ждал, ждал... Садитесь чаевничать. И где это носило вас?

Выслушав об'яснения Сосновского, он изумился самым искренним образом.

— Вот нашли удовольствие! Изучать новые типы? Чудак вы ей-богу! Вот затейник! Да что тут нового? Люди, как люди. Известно, шпана. Надоест еще вот-как! Вы прислушайтесь лучше вот, что Шаров Александр Иванович рассказывает.

На противоположных нарах битком набился народ и в молчаливом возбуждении плотным кольцом окружил приземистого, широкоплечего брюнета с круглой головой и бычачьей шеей.

— Засели мы по сторонам дороги, — повествует он сухим металлическим басом. Ночь, хоть глаз выколи! Чуть-чуть на восходе светлеет. Скоро быть месяцу. Сидишь — винчестер двенадцатизарядный в руках так и замер. По тайге гул идет... Шумит тайга ночью, братцы, точно говорит тебе что-то. Слышим —

тарахтит: идет, значит, золото наше. Притулились плотнее за елками — сидим; а дорога — чуть видна. Смотрим, чернеет. Она. Почта, значит. Казаки верхами едут, ругаются... Вот один закурил... Свистнул я тут—аж с елки шишки посыпались. Р-раз!—из винчестера... Товарищи подхватили... Да как сыпанули мы тут залпами — тайга застонала! По сотне зарядов у каждого; трое палят, двое заряжают, а оказывает, будто полк целый нас. Пошла тут у них суета. Кони ржут, бьются. Повозки трещат... Мечутся все... Казаки сперва отвечали, да куда с дороги-то денешься? Заворотили коней и назад. Месяц тут вышел. Отдохли мы—смотрим: две повозки остались; кони убиты; казаки лежат тоже, трое... Пудов возле сотни взяли мы тут золота...

Общий огромный вздох разом пронесся по напряженной толпе. Точно всю разом ее окунули в холодную воду.

Рассказчик остановился, наслаждаясь произведенным эффектом.

— Принес, Лыксандра Иваныч!—осторожно доложил Аджали, почтительно дожидавшийся конца эпопеи.

— Клади в мешок, — небрежно бросил Шаров, раскуривая большую приискательскую трубку с серебряными инкрустациями.

— Сколько принес?—добавил он между двумя затяжками.

— Четыре, Лыксандра Иваныч.

— За печатью?

— Канэшна! Как можна?..

— Н-на! Получай!—широкая смуглая рука полезла в глубину плисовых неформенных шаровар и выбросила на нары четыре скомканные трехрублевки.

Публика скромно отвела глаза.

Некоторые, сплевывая сквозь зубы, отошли подальше, делая вид, что их вовсе не интересуют бутылки, в которых так заманчиво булькает казенный, запечатанный спирт.

Наконец, Аджали кончил укладку и бережно затянул ременные завязки у прочной кожаной кисы, лежавшей на нарах рядом с огромной пуховой подушкой в ярко-красной наволочке.

Мотчик вышел из столбняка, в который повергло его представление о ста пудах золота, и робко тронул за плечо майданщика.

Сосновский с интересом ждал, что будет дальше.

Его гораздо больше интересовал этот тип, чистокровное дитя нашей пенитенциарной тюремной системы, чем знаменитый Шаров, ограбивший золотую почту.

Аджали быстро обернулся:

— Чиво тибэ? А-а, коты? Ну давай, давай, кардаш! Вот тибэ двухгрывеник!

Он бросил коты куда-то себе под халат и сунул Мотчику серебряную монету.

— Нэкогда, нэкогда! Сичас поверка будэт!—отмахивался он обеими руками от Мотчика, снова о чем-то его умолявшего.

— Ну, будь отцом родным, Аджали... товарищ! Дай пятаками! Куда мне с двугривенным этим?—ныл Мотчик, хватаясь за халат вбегавшего Аджали. — Его-то ведь я разом спущу, а пятаки-то враздробь пойдут... Авось, фартанет на который!—поясняя он вдогонку.

— Ах, дурной ти башка! — остановился, наконец, татарин. — Ну, давай назад монэта! Так. На тибэ три пятака! Болши нэту, ей-богу, нэту! Хочишь—бэри, хочишь — нэт! Три пятака!

Он лукаво подмигивал и скалил белые зубы.

Мотчик громко вскрикнул от изумления и ударил руками о полы своего желтого халата.

Кругом засмеялись.

Сам Александр Иванович снисходительно усмехнулся, прикусив углом рта свою богатую трубку.

— Повер-ка-а! Пошел, выходи на лини-ю-у-у!—сквозь общее галденье смутно донеслось из коридора.

Аджали мгновенно исчез, и Мотчик остался с разинутым ртом.

Кругом его суетился народ; его толкали спешившие к выходу, осыпая отборной бранью, зачем стал посреди дороги, а он все стоял и тупо глядел на заскорузлую ладонь свою с тремя лежащими на ней пятаками.

Сердце его болезненно ныло.

— Что, брат, околпачил тебя нехристь? — улыбаясь, проговорил Шаров, вставая с нар и направляясь к выходу. — На что тебе пятаки-то понадобились?

— Иг-грать! — смущенно протянул Мотчик, усиленно хлопая глазами.

В голосе его слышалась горькая дрожь забитого существа от новой, несправедливой обиды.

— Эх, стоит, брат! На—лучше! С фарту—на фарт! Держи!

Целая горсть медяков и серебра брякнулась на ладонь Мотчика. Несколько монет свалилось на пол и, звеня, покатилось под нары.

Весь красный, растерявшийся, бормоча нескладные благодарности, бросился он ловить их.

Мотчик был счастлив.

Крепко зажатые в руке «фартовые» деньги давали возможность развернуться во-всю; сулили целый ряд блаженных минут полного самозабвения.

И глаза его сверкали, вся фигура преобразилась. Теперь ему было море по колена.

— Не меньше, поди, как рублей пять отсыпал.

При этом соображении он вдруг дико загоготал и пустился в пляс, нелепо раскидывая по сторонам длинные ноги и стуча голыми пятками.

Вышедший последним Сосновский с невольной улыбкой смотрел из коридора на это преображение.

В дверях показалась раз'яренная фигура надзирателя.

— Тя што?! — загремела непечатная брань. — Там счет не выходит, а он проклажается тут!.. Да я тебя...

Но Мотчик не спрятал заостренной головы своей в костлявые плечи и не поплелся уныло, как сделал-бы во всякое другое время.

Перед остолбеневшим начальством мелькнули вдруг длинные ноги, и бесформенная масса клубком, через голову покатилась в коридор, издавая дикое грохотанье.

— Да что это с ними сегодня? Все будто белены об'елись... И этот туда же?! — в изумлении бормотал надзиратель, выходя следом за Мотчиком. — Это все Сашка Шаров с Черным да с Мухой мутят их. А и деньжищ же у него, дьявола!—думает он, ощупывая в кармане приятно хрустящую пятерку, «подарок» Шарова за прошлую ночь дежурства.

Поверка между тем продолжалась.

Счет все не удавался.

Расходившийся Мотчик, строя отчаянные гримасы, потешал кобылку.

Стоило одному надзирателю пройти по переднему ряду выстроенных двойной колонной арестантов, тыкая в грудь каждого указательным пальцем, — как он мгновенно подавался назад и второй надзиратель, шедший по заднему ряду, считал его снова.

При сложении полученных цифр выходило одним больше.

Снова начинался счет.

Обвиняя друг друга, с бранью шли надзиратели по рядам, и Мотчик, произведя ту же диверсию в обратном порядке, достигал других, не менее печальных для них результатов: получалось одним меньше.

Надзиратели, обливаясь потом, красные от злости, метались по рядам, сопровождаемые смехом и шутками арестантов. Старшой — «полоротый» Сидор Семенович — удивленно таращил круглые глазки и сам, наконец, пошел помогать счету.

Это вносило еще больше сумятицы и бестолковости в общее дело.

Кое-как все уладилось, и огромные дети с гиком и свистом рассыпались по камерам.

Загремели засовы, защелкали замки, и, наконец, понемногу все успокоилось.

Дешевенькие часы с размалеванным циферблатом бойко пробили полночь.

Надзиратель Щукин встрепенулся и, лениво потягиваясь, поднялся со своего скрипучего ложа.

Сегодня он дежурный по коридору 2-го корпуса.

Надо итти посмотреть, — все ли в порядке.

— Как бы «сам» не шаркнул в тюрьму! Оч-чень просто!—думает Щукин, беспокойно прислушиваясь к долетающему из 4-го номера гвалту.—Эх, разбирает-то их!

Получив приличную мзду от Сашки Шарова, он ограничивается этим критическим замечанием и единственно из любопытства прикладывается глазом к небольшому квадратному отверстию в двери четвертого номера.

Там глаз его в упор встречается с другим, слегка испуганным глазом стремщика (караульный).

Этот глаз на мгновенье скрывается, и на его месте появляются губы.

— Что? Стрема? (Опасность?) — долетает до Щукина хриплый, сдержанный шопот.

— Поглядеть охота... Скажи ребятам! — говорит Щукин, и визг засовов на минуту сливается с криком стремщика:—«свой»!

Бешеная, беззаветная оргия в самом разгаре.

Так веселиться могут только те, у кого и впереди, и позади — одна беспросветная мгла, без искры надежды, без единого светлого воспоминания... У кого жажда забвения вызывает жажду этих неестественных, одуряющих ощущений.

Вся камера как будто в котле варилась.

На полу против двери кипела бешеная пляска.

В одном грубом холщевом белье, босиком, волчками вертелись друг против друга два ловких и гибких арестанта.

Дико взвизгивая, лихо неслись они в разные стороны. С быстротой молнии перебирали босые ноги.

Мастерской поворот и — один уже в центре, с уханьем то высоко взлетает в воздухе, то вьется над самой землей.

То одна, то другая нога вылетает вперед; только белые штрихи сверкают над поверхностью пола.

Весь перегнувшись назад, еще быстрее прежнего несется вокруг него второй танцор.

Музыканты, сидя полукругом на корточках, прислонились спинами к печке и орут плясовую, подражая оркестру.

Какой-то искусник приспособил бумажку к гребенке и пронзительным визгом ловко ведет залихватский мотив.

Публика плотным приплясывающим кольцом охватила танцоров и, хлопая в ладоши, отбивает такт.

— Шибче, шибче! — слышатся возгласы.

«И чего ты, словно еж,
С антиресом пристаешь?
Барыня, барыня!.. Ух!

Один из танцоров «пустил рыбкой», почти плашмя несясь по полу; второй колесом завертелся по кругу, — не видно ни рук, ни ног. Плоская, круглая масса сверкает в воздухе.

Публика ревет от восторга.

Многие не выдерживают и, лихо вылетая в круг, присоединяются к пляске.

— Лихо! Жги, ребята! — зычно гремит коренастая фигура в красной шелковой рубахе, вставая на нары. — С фарту!.. Лови на шарап... Эй!

Дождем сыплются на толпу и танцоров шальные деньги.

Начинается свалка.

Сквозь волны табачного дыма и пыли, поднятой с грязного пола, на нарах чуть видны азартные группы игроков.

Картежные термины переплетаются с непечатной бранью. Стон стоит в воздухе.

В центре каждой группы, на разостланном халате грудами валяются скомканные ассигнации, звенят монеты; быстро мелькают и щелкают карты.

Сравнительно ясно видны только те, которые сидят против двери. Чем дальше, тем мутнее картина, и, наконец, в отдаленном углу мелькают едва намеченные контуры склоненных над чем-то фигур.

— Бита... Дана... Бита... — несется из ближайшей группы.

— Пять рублей мазу! — ревет кто-то.

— Держу! — отвечает пронзительный голос.

— Шеперка — десять целковых очко... (шестерка).

— Бардадым (король)... Шелихвостка (дама)...

— Эй, куда прешь?.. Руки долой!...

Сверкают ножи. Публика разнимает дерущихся.

Мелькают пьяные, возбужденные лица. Дико сверкают вытаращенные глаза; быстро молотят крепкие кулаки... Пустые бутылки взвиваются в воздухе и, с дребезжаньем рассыпавшись об стену, обливают толпу дождем мелких осколков.

Со свистом и гиканьем несется сумасшедшая пляска.

Заливаясь резкими трелями, визжит гребенка.

Звонким плеском в ладоши отбивается одуряющей быстроты такт...

Склонив голову на руки, сидит в углу возле двери Мотчик. Рядом с ним стоит вонючая «параша».

Кругом кипит, сквернословит разнузданная толпа... а он все сидит.

Сиротливо поник заостренный затылок; печально согнулась длинная, морщинистая шея; резко протянулась по ней глубокая борозда между тощими сухожилиями.

На нем нет уже короткого, желтого халата. Нет даже белья, собственноручно сшитого из грубых мешков, наподобие какого-то дамского «комбинэ».

Ничего нет ни на нем, ни у него.

Все спущено в штосс до последней копейки, до последней нитки...

Теперь он сидит совершенно голый, обхвативши острые колени своими длинными, высохшими руками.

Щукин вошел, постоял у порога, махнул рукой и вышел, не заметивши Мотчика.

А тот даже не пошевелился.

Тоска, отчаянье, злоба сжимали его сердце... Но больше — тоска.

Злоба не под силу была этому по-детски экспансивному и по-детски же доброму, робкому существу.

Ему нисколько не стыдно своей наготы.

Экая невидаль! Человек проигрался — и только!

Ни на мгновение мысль его не останавливается на завтрашнем дне, на новой расплате за такой генеральный промот.

Все это дело привычное! Все это тлен и суета. Все это теперь где-то внизу, в грязи; неизмеримо ниже, ничтожнее тех чувств, что крепче клещей кузнечных тоской охватили и давят, терзают и мучат его стонущую душу.

Не на что играть!

Нет ничего, кроме грешного, иссеченного, грязного тела да этой стонущей души большого, испорченного ребенка.

— Эх, жи-исть!

Искаженное муками Тантала, облитое слезами лицо с трясущейся челюстью поднимается с острых колен.

— Эх, Мотчик! — доносится откуда-то через головы пляшущей, орущей, осатанелой толпы.—Чего бабишься? Иди в круг! Жарь камаринскую!

На нарах стоит во весь богатырский рост полупьяный Муха, счастливый партнер Мотчика.

В руках его развевается знаменитый костюм из мешков.

Мотчик робко подходит и тянется за своим сокровищем.

— Нет, ты «так» жарь! Та-ак! — хохочет Муха, высоко взмахивая лохмотьями.

— Та-ак! Та-ак! — грохочет толпа, очищая круг.

— Жарь, длинный дьявол! Зарабатывай!

Мотчик беспомощно озирается, прикрывая рукой свою наготу.

Но толпа плотным кольцом окружает его.

Отовсюду гремит раскатистый смех; мелькают потные, красные лица, посоловелые глаза, открытые черные рты и оскаленные в диком хохоте зубы.

Музыканты «наяривают», визжить гребенка. Публика топает, плещет в ладоши и с гиком и свистом подхватывает лихой, разудалый мотив.

— Пляши «так»! «Та-ак» пляши, чортов сын! Зарабатывай!

И Мотчик начинает плясать «так».

Он «зарабатывает» свои жалкие лохмотья.

Пахнет дракой.

В душе его загорается понемногу надежда на лучшее будущее. Надо только угодить ребятам.

И он, постепенно входя в раж, одушевляемый этой смутной надеждой, развертывается во всю.

Уродливое, длинное, голое тело, все исполосованное рубцами от розог, плетей и побоев, сначала неуклюже скачет по кругу.

Но понемногу зажигательный мотив, быстрота темпа и сладкие перспективы возможной игры — огонь вливают в анемичные жилы. Ноги становятся гибче, пляска быстрее.

— Го-го-го! — несутся ободряющие восклицания.

— Катай его! Жарь, Мотчик!

И Мотчик приходит в полный азарт.

На всю камеру скрипнув своими чудовищной крепости зубами, он с присвистом отделывает все колена присядки.

Самые непристойные жесты сопровождают у него эти колена. Пыль столбом вьется из-под ног.

Публика мечется в неистовом восторге, хохоча и давя ближайших зрителей.

Игроки побросали и карты и деньги на ставках... Все лезут вперед, друг на друга, образуя какую-то кипящую кашу.

Лампа раскачивается, озаряя неровным, мигающим светом эту картину.

Смутные тени на потолке испуганно мечутся.

Стоном стоит вся камера в диком веселье...

Как ошеломленный, смотрит на все это Сосновский, сидя на нарах. Мысли вихрем кружатся у него в голове.

— Что если бы какой-нибудь большой художник изобразил на громадном полотне картину этого безудержного, но такого больного веселья? Веселья — через-не-могу, — мелькает у него в голове. — Ведь это же, как молотом ударит по нервам своей необычностью... А ведь это люди!.. А кто виноват — они сами или среда? Весь строй, весь дикий уклад нашей общественной жизни. Чтобы не было этих людей — никогда и нигде — сколько еще должно произойти социальных изменений, каких-то новых напластований общественной психики! Сколько еще годов!.. Много! И все-таки когда-нибудь люди будут другие! Будут!!

— Борис Иванович! — слышится за ним возбужденный голос Тиманова. — Ложись на нары! Чего сидишь, как в киятре? Еще пристанет кто спьяна.

Сосновский обернулся.

Тиманов, лежа на нарах, выставил голову из-под халата и тянул его за полу с озабоченным видом.

— Ну, пристать не пристанут, а смотреть, пожалуй, довольно. У меня и так голова кругом пошла!

В эту минуту весь облитый потом Мотчик свалился в полном изнеможении, как загнанная лошадь.

— Стой! Мы сейчас воскресим его! — под общий гвалт и хохот заревел Муха и, схватив бутылку с остатками спирта, принялся вставлять ее горлышком в рот Мотчика, заливая ему все лицо.

Тот кашлял, чихал и вертел головой во все стороны. Наконец, схватив бутылку дрожащими руками, сел на полу и, не отрываясь, сделал несколько длинных глотков.

Жгучий напиток мгновенно возродил угасшие силы.

Мотчик вскочил, встреченный жидкими аплодисментами. Большинство публики вернулось к брошенным ставкам и с бешеным азартом попрежнему ссорилось и ругалось на нарах во всех концах камеры.

Схватив заработанные бесстыдной пляской лохмотья свои, ринулся туда же и Мотчик, как был, голый.

К чему одежда, когда все равно сейчас он поставит ее на карту?

— А-а, приятель! Ну что? Подходит это под вашу политику? — воззрился Муха на Сосновского, направляясь к нему неверными шагами.

— Прав был Тиманов. — подумал тот, настораживаясь.

— Какая тут политика? Просто жутко.

— Н-но! Жутко!? — С непривычки это... А ты выпей, вот и не будет жутко. На! выпей, друг... — и он совал в лицо Сосновскому бутылку, держась за нары и покачиваясь во все стороны. — Али гнушаешься нами?

— Что вы, Муха! Что вы говорите!? Для меня человек — везде человек, безразлично — в каком бы унизительном положении я его ни застал... Не знаю, поймете-ли вы меня, но не для того мы боролись за народную долю, чтобы делить людей на чистых и нечистых.

— Вер-р-на!.. Мил-лай! Вер-р-на!.. За народную долю... Эх!! — он скрипнул зубами. — Где эта доля?.. Скажи, мил-лай! Скажи только... Зубами вырву... Да не скажешь!.. Нет ее на свете! Нету!—он опустил голову на плечо к Сосновскому и заплакал пьяными слезами.

— Муха! Да где же ты, дьявол? — закричал из переднего угла Черный, вставая на нарах и приставив обе руки ко рту наподобие рупора.—Иди метать... Твоя очередь!

— Иду, иду! — встрепенулся Муха.—Так найдешь ее, долю-то нашу? Найдешь, друг, — и нам скажешь?.. — хрипло зашептал он заплетающимся языком. — Ты скажи только, а уж мы добудем... Со дна моря добудем!...

Он стукнул кулаком по нарам и снова скрипнул зубами.

— Ну, иду, иду! чего глотку дерешь?

— Пьяная морда! — зашипел ему вдогонку Тиманов. — Долю ему нужно!? На дне бутылки его доля, а он искать собирается, — глот поскудный!

Но Сосновский не слушал этого ворчанья. Завернувшись в халат, он перебирал впечатления своего первого дня в тюрьме для испытуемых.

— Да! — думал он. Не скоро еще создастся та социальная подпочва, на которой будет немыслимо возникновение таких вот людей. Даже и при новом экономическом строе сколько пройдет времени, пока человечество перевоспитается в корне! Ведь, психика — это такая гора консерватизма, сдвинуть которую можно, только постоянно нажимая и работая в этом направлении. И конечно, прежде всего — свету! больше свету! Учить надо, просвещать, приводить разительные примеры!

Приподнятые кошмарным днем нервы невольно заставляли и мысль работать в приподнятом тоне.

Камера понемногу стала затихать. Кучки игроков заметно поредели. Только в двух-трех местах виднелись еще согнутые фигуры наиболее заядлых картежников; но и те спорили и ругались вполголоса, поглядывая на спящих соседей. Как-никак, а в 5 часов утра надо вставать на работу.

В зловонной мгле уныло светилась тусклым пятном висячая лампа. Серые, скорченные фигуры хрипели и стонали на нарах.

Угрюмо чернели железные решетки огромного окна, и неуютно, нехозяйственно как-то выглядели по стенам длинные полки; деревянные бачки, узелки и всякая немногосложная арестантская рухлядь торчала на них.

На протянутых веревках, между печью и косяком двери, безобразными лохмотьями висели грязные, мокрые портянки.

Острая, специфическая струя прели примешивалась к зловонному туману, стоявшему в камере.

Изредка срывалась с нар какая-нибудь фигура, поблескивая полуобритым черепом и, ошалело посмотрев вокруг себя, принималась яростно скрести грудь и плечи.

Кого угодно доняла бы армия жирных клопов тюремных. Целыми полчищами кишели они в пазах стены и по щелям давно некрашеных нар, злобно кусая намученное за день арестантское тело.

— Уйди! Уйди! — диким взвизгиваньем проносился иногда чей-то бред, и несколько испуганных голов, появившись из-под серых халатов, с отвратительной бранью вновь скрывались под ними.

Незаметно для себя Сосновский заснул.

ГЛАВА IX.

— Вста-ва-ай! По-ше-ел на по-вер-ку-у! — протяжно разнеслось в пустом коридоре.

Завизжала на блоке и хлопнула входная дверь. Послышалась частая стукотня многочисленных ног, говор и хриплая перебранка.

Неприятный лязг дверных засовов, отчаянное громыханье их об пол, заканчиваясь жалобным дребезжаньем, все приближалось. Вот отпирают дверь третьего номера. Сейчас подойдут сюда, к четвертому.

Камерщик, он же и майданщик, Аджали уже поднялся. Его покрытая лишаями пегая голова суетится на нарах около знаменитого магазина с товаром.

Потом он приносит скрипучую табуретку на середину камеры и лезет тушить безбожно чадящую лампу.

За окном брезжит рассвет.

Одна за другой, кряхтя и потягиваясь, поднимаются серые фигуры арестантов.

Переливчатый звон кандалов вторит невнятному гулу только-что проснувшихся людей.

С треском, визгом и лязганьем распахивается тяжелая дверь. С потоком свежего воздуха появляется фигура надзирателя Щукина с огромным револьвером в кобуре.

Немилосердно тянет на бок его кожаный пояс эта тяжелая железная штука.

Истрепанные синие шнуры болтаются на груди.

Широко разевая рот, обрамленный черными усиками, красно-рожая, бравая фигура эта совершенно бессмысленно орет в глубину давно проснувшейся камеры:

— Вставай... по-ше-ел на по-вер-ку-у! — и затем исчезает, гремя связкой огромных ключей и лихо постукивая подкованными каблуками.

Эх! что за каблуки умеет вытачивать дьявол Крученый! Вершка в полтора, с грациозным изгибом; задник — что твое яблоко.

То-и-дело носится на них кокетливый малый, несясь по коридору и нагибая голову наподобие бранд-майорской пристяжки.

Народ засновал в дверях.

Два невзрачных, угреватых парашника, в котах на босу ногу и в рваных бушлатах, продели палку в ушки зловонного ушата и скорым шагом понесли его из камеры, немилосердно расплескивая содержимое.

Острое зловоние не менее получаса держалось еще над местом их шествия вплоть до выходной двери барака.

Человек полтораста из четырех камер понемногу выстроились в два ряда вдоль коридора.

Два надзирателя, идя от разных концов колонны, пересчитали арестантов.

Старший облегченно вздохнул, услышав верную цифру, и велел петь молитву.

Жидко и неохотно пропели «Отче наш» и «Царю небесный» и мгновенно рассыпались в разные стороны.

Коридор наполнился шумом и гамом.

Слышится плеск воды и фырканье. Некоторые умываются над огромным железным корытом, но большинство, размахивая жестяными чайниками, сломя голову, бежит через двор в кухню.

Так, неизвестно почему, назывался крошечный сарайчик с печью под огромным котлом посредине.

Не желая эксплоатировать любезность Тиманова, Сосновский, несмотря на протесты, отнял у него чайник и побежал туда-же.

Полускрытые клубящимся паром, стояли вокруг котла на приступке три арестанта с ковшами на длинных палках. Обнаженные мускулистые руки с черпаками мелькали над головами толпящейся, гомонящей кобылки.

— Сюда, сюда! Плесни-ка еще!

— Ой, тише, чорт! Обварил!

— Куда прешь? Вот шпана проклятая! — вопили с разных сторон.

Теснота, давка, гвалт и ругань; неопределенные очертания черных от копоти стен; огромные клубы пара.

В дверь, запруженную народом, едва пробиваются узкие штрихи света.

— Вот-с! Пожалуйте, Степан Никанорыч! — весело крикнул Сосновский, с торжеством ставя на нары полный чайник с кипятком.

Покачиваясь под тяжестью целой горы трехфунтовых паек черного хлеба, с деревянными носилками в руках, показался в дверях камерщик Аджали с подручным.

Сорок две пайки сложены на столик, стоящий в простенке между нарами, прямо против двери.

Возвращаясь из кухни, каждый брал свою долю и принимался пить чай, покрепче заправляясь хлебом перед работой.

Редкая пайка была отрезана аккуратно. Большинство было с довесками, приткнутыми сверху на деревянных колышках.

Сосновский пошел к столику, взял две пайки и только тогда уже влез на нары, где Тиманов с ворчаньем расставлял посуду и развязывал сахар.

— И зачем вы это делаете, Борис Иванович? За кипятком побежали, хлеба принесли... Что, я сам не умею? Или барин какой?

— Баре мы с вами одинаковые, Степан Никанорович, — смеялся Сосновский, с аппетитом уписывая огромный ломоть хлеба, отвороченный Тимановым при помощи сапожного ножа.—И суметь вы, конечно, сумеете за кипятком сбегать; а только разница у нас все-таки есть. Вам сколько лет? Сорок пять? Ну, вот! А мне двадцать два. В аккурат вдвое моложе вас, а значит и проворнее.

— Что-о? Проворнее? — вспылил тот. — А вот после работы давай пофехтуемся, хотя прутьями! я тебе покажу, как старые кубанцы на шашках бьются! Узнаешь, кто проворнее!

Сосновский хохотал.

— Дуэль? Идет! Принимаю ваш вызов. Итак, значит, сначала общая прогулка в Булонский лес совместно с этими князьями, графьями и бароньями, а затем трагическая дуэль на Монмартре, во дворе кабачка «Красная мельница!»

— Выдумает этакое! — смеялся и Тиманов, прихлебывая горячий чай из блюдечка.

— По-о-шел, выходи на рабо-о-ту-у, — отчаянным воплем прорвалось свозь общий гомон.

С большой неохотой стали собираться обитатели камеры. Медленно прибирались чайники, еще медленнее оправлялась одежда и обувь. Каждый старался по возможности отдалить момент ненавистной работы из-под палки.

Раз'яренная фигура надзирателя и оглушительный поток сквернословия были результатом этих бесплодных попыток.

Вздыхая, почесываясь, нога-за-ногу стали выползать арестанты из камер.

Отводя душу в изысканной перебранке с «духами», нехотя строились они на обширном дворе.

Слезливая, облачная погода подходила к общему настроению. Жалкие кустики травы уныло торчали кое-где из щелей деревянных мостков.

Немногие счастливцы, с утра записавшиеся больными, стояли на высоком крыльце околотка.

В ожидании прихода врача, они мирно беседовали друг с другом, огрызаясь изредка на презрительные возгласы рабочей кобылки.

— Эй вы, хвостобои! — кричали завистники.

— Всю ночь, поди, язвы травили китой (кетой) да копейками!...

— Глотку прижжет цыгаркой — у меня, дескать, сифилис! Ослобоните, господин дохтур... У-у! Хвостобои!

— За три фунта душу чорту продали, буган необузданные!— кричали в ответ с крыльца.

— Почем поденщина-то? Эй, вы!

Но тут в калитке показалась высокая энергичная фигура доктора, и со всех ног прыснули в околоток хромые и убогие.

— Тю-ю! тю-ю! тю! — ревела вслед им кобылка.

Старшой Семеныч, с запиской в руках разбивал тем временем колонны на отдельные партии, назначая каждой особую работу.

Сосновский с Тимановым, справившись, которая партия назначена «под бревна», живо примкнули к ней.

— Тайги давно не видал, — говорил Сосновский: — просто душа болит, Степан Никанорович, как на хребты погляжу. Так и тянет!

— Да это что! — уклончиво заметил тот, — пустое это все! Меня тоже вот тянет, да только иначе... Ну, да об этом мы еще с тобой потолкуем, Борис Иванович...

Сосновский подозрительно посмотрел на него и промолчал.

Один за другим исчезали отряды рабочих, выходя на волю за тюремные пали.

Наконец, двинулись и бревнотаски.

С громом захлопнулись тяжелые ворота.

Человек двадцать солдат с берданками на плечах оцепили партию, вытягивая ее в два ряда вдоль высоких заостренных палей.

Но вот и они по счету приняты конвоем от Семеныча.

Один надзиратель встал во главе колонны, и с переливчатым звоном ножных кандалов партия быстро двинулась по улице. Солдаты, поминутно меняя ногу и перебегая с места на место, безуспешно старались сохранить правильные интервалы в своей цепи.

Завернув за угол улицы, партия перешла мост и лавиной бросилась к тюремным складам, у которых, подняв кверху скрепленные поперечной палкой оглобли, длинным рядом стояли двухколесные тележки.

Каждый старался захватить ту, которая полегче и попрочнее. Шум, лязганье цепей, отчаянная перебранка — наполнили туманное утро.

Восемьдесят человек, с перекошенными от злобы лицами, звеня кандалами, метались около склада, вырывая друг у друга тележки.

Двадцать конвоиров безучастно стояли вокруг, опираясь на винтовки; их дело — только смотреть, чтобы кто-нибудь не выскочил в интервалы цепи; порядок — дело надзирателя.

До хрипоты кричал и сквернословил «несчастный мученик», стараясь покрыть общий гвалт восьмидесяти глоток.

Наконец, все утихло само собою.

Небольшие кучки в четыре бревнотаски при одной тележке, сопровождаемые одним конвойным, стали отделяться из общей массы, длинной змеей вытягиваясь по дороге обратно к мосту.

Пройдя несколько улиц, партия выбралась на дорогу.

По бокам расстилались поля, покрытые ярко-зеленой, уже довольно большой травою.

Влево виднелась невысокая, уходящая вдоль дороги возвышенность. За нею мощно гудело море.

Словно гигантской щеткой прошелся кто-то по вершинам чахлых, низеньких кедров и лиственниц, густо покрывших эту гряду. Уступая напору вечных ветров, все они, согнувшись в дугу, направили косматые плоские вершины свои в одну сторону, да так и замерли навсегда.

Направо за полями, уступами вверх, шли террасы, утыканные черной, редкой щетиной обгорелых пней.

За ними вдали синела горная цепь.

Жадным взглядом окидывал Сосновский всю эту картину, полной грудью вдыхая ароматный воздух полей.

Вот уже почти два года, как он лишен всего этого... И теперь каждое корявое придорожное дерево, каждый куст или высокий перистый пучок папоротника радовали глаз, казались чем-то новым и удивительно красивым.

А эти жемчужно прозрачные дали!

Темная щетина ближних хребтов постепенно бледнеет, смягчает самые очертания свои и нежной волнистой линией тает в дымке туманной долины.

Часа два шла партия.

Последние остатки облаков исчезли в синеве неба. Казалось, их растопило солнце, что горячим светом заливало теперь, одинаково нежно лаская, поля и деревья, и серую ленту дороги, и отверженный каторжный люд разряда испытуемых.

С переливчатым звоном их кандалов радостной трелью своей перекликался невидимый в синеве небес жаворонок.

С сильно бьющимся сердцем, не чувствуя тарахтевшей сзади тележки, шел Сосновский. Впервые после многих месяцев скитанья по тюрьмам и казематам, после многих недель путешествия на набитом, как сельди, арестантами пароходе, грудь дышала во все легкие, и было где отдохнуть глазу, уставшему от однообразной серости тюремных стен.

Поле кончилось.

Сплошной стеной надвинулся лес к самой дороге.

Хребты стали много ближе; их резкие очертания грозно чернели над самыми головами.

Из-за деревьев выглянула землянка. Синий дымок вился над нею, выходя из старого боченка, врытого в дерновую крышу.

На пороге стоял заспанный, босой парень в неимоверно грязной рубахе и заплатанных шароварах серого тюремного сукна.

Зевая во весь рот, он лениво почесывал одну ногу другою.

Возле землянки, на высоких козлах вялилась рыба.

Небольшая полянка вся заставлена была штабелями чистых, как свеча прямых, шестивершковых бревен.

Разморенная десятиверстным переходом, команда молча расположилась на отдых.

Задымились цыгарки.

Босой парень поминутно черпал воду из кадки большим ковшом, услужливо угощая солдат и арестантов.

Истомленные жаром, наглотавшиеся пыли, они жадно тянули студеную влагу, сдвинув на затылок свои шапки.

С наслаждением опустился на землю Сосновский возле своей тележки.

Забыв о куреньи, он с интересом всматривался в обступившую их со всех сторон лесную глушь.

Ели, пихты, кое-где лиственница. Нежная, светлая зелень ее словно реет в воздухе на тонких ветках; параллельными штрихами рисуются они на общем темном фоне. Местами топорщится пушистая хвоя пихты, но больше всего в этой картине елей. Тихо стоят они, темные и густые, опустив книзу свои косматые ветви.

Серым бархатом колоритно рисуются кое-где мшистые камни. Вот причудливая группа их, высоких, остроконечных, видна в просвете лесной заросли. Глубоко вросшие в землю, стоят они, может быть, много веков, и, как старцы друидов, держат тихий совет о чем-то.

На опушке поляны кудрявыми купами сплелся боярышник, да папоротник зеленым кружевом раскинул свои резные, изящные листья.

Острый пряный запах стесняет дыхание, крепче стучит сердце, и тянет, неудержимо тянет туда в эти зеленые волны...

Легкий толчок в бок пробудил его от этих грез.

Тиманов молча указывал ему на что-то глазами.

Сосновский слегка повернул голову.

Сосед их по нарам, Алеха Мирный, шедший вместе с приятелем своим, старым бродягой Залетным, за последней тележкой, осторожно развинчивал теперь потайные винты своих с'емных кандалов.

Конвойный, сидя на бревнах, поставил винтовку между коленями и мирно свертывал себе папиросу, что-то насвистывая.

Залетный, приставив руку щитком к глазам, казалось, усердно всматривался во что-то на противоположной стороне поляны.

— Ребята! — во весь голос вдруг заорал он, махая руками. — Медведь! Конвой, береги! Пали же, пали! Вон он, во-он!

Солдаты повскакали. Цепь подалась в сторону и смешалась с арестантами.

Все головы повернулись туда, куда указывал Залетный.

Поняв в чем дело, Сосновский оглянулся на Алеху, но тот уже исчез.

В тот же момент старый бродяга страшным ударом в лицо сбил с ног конвойного и одним легким прыжком скрылся в заросли.

Все остолбенели, дико смотря то на упавшего солдата, то на лесную опушку, где не двигалась уже ни одна веточка.

— Убё-ёг!—сдавленным воплем вырвалось, наконец, из чьей-то груди.

— Дер-жи-и! Уше-ел!

Все перемешалось. Поднялся гвалт. Загремели поспешные, беспорядочные выстрелы.

Но тайга строго хранила свою тайну.

Только изредка косматая веточка какой-никудь елки, срезанная пулей, тихо валилась в густой лопушник.

— Видели?—шепнул Тиманов.

Глаза его сверкали, и лицо раскраснелось.

— Вот бы так-то! Эх, ловко!

— Ловко-то ловко. Ну, а дальше что?—усомнился Сосновский, покачивая головой.—Ведь пропадут с голоду, если раньше не поймают их.

— Зачем пропадать? Залетному не впервые. Наверное, все обмозговал, что надо,—заспорил Тиманов.—Ну, впрочем, мы с вами об этом еще потолкуем. Конечно, нельзя так сразу; снял кандалы да и дёру. Тут не город, не Москва тебе,—известно!

Между тем конвойный начальник созвал военный совет, в результате которого трое солдат, наиболее знакомых с местностью, пущено было на поиски беглецов по свежим следам; остальные, с мрачными лицами и с винтовками наготове, молча стали кругом поляны.

Веселое, доверчивое настроение исчезло.

— Как волка ни корми, а он все в лес глядит! — ни к селу ни к городу заключил надзиратель поток сквернословия, направленный против беглецов и, вообще, против всей «тюремной ашатии».

— Нечего тут проклажаться!—заревел наконец он, видя, что слушатели злорадно усмехаются на его не совсем удачное заключение.

— Наваливай бревна, да и марш, такие-сякие! Ну!.. А вы, дьяволы, одни потащите свою тележку! Зачем упустили? У-у! Нехристи окаянные!—набросился он на двоих татар, бывших в паре с Залетным и Алехой.

Те только пятились перед грозно махавшим кулаком начальства, испуганно тараща глаза. Бедняги ничего не понимали по-русски и боялись, что за побег товарищей по тележке их опять будут судить и, пожалуй, загонят еще куда-нибудь дальше этого угрюмого, страшного острова.

Сосновский и еще один молодой каторжанин из их партии взобрались на ближайший штабель и принялись осторожно катить крайнее бревно по его поверхности. Другой подручный, постарше, и Тиманов остались внизу, подставляя вытянутые кверху руки.

Не докатив бревна до края, надо было занести один его конец так, чтобы он повис в воздухе и, подхваченный во-время снизу, был опущен на землю.

Удачно выполнив этот маневр, Сосновский вместе со своим помощником соскочили вниз, и уже вчетвером, подставляя кто руки, кто плечи, осторожно опрокинули бревно на тележку так, чтобы оно лежало на ней в равновесии. Теперь оставалось только плотно прихватить его веревкой, чтобы не скользило и не вертелось при под'емах и спусках в гористой местности.

Менее чем за полчаса все тележки были нагружены. Длинная цепь их окружила поляну, постепенно вытягиваясь на дорогу.

— Не смей уходить вперед! Дожидайся других!—кричал надзиратель, махая руками и бегая по поляне, то к задним, то к передним тележкам. — Цепью держись! Друг за дружкой! Чтобы не больше пяти шагов расстояния, с-сволочь!

Он хлопотал и бегал, точно курица за цыплятами, забывая, что здесь никто не увидит и не оценит его запоздалого служебного усердия, и что все равно не избегнуть ему жестокой нахлобучки от начальства.

— Что ему будет, как вы думаете, Степан Никанорович?— спросил Сосновский, влегая плечом в плетеную из веревок лямку.

— Да ничего! Разнесут для проформы и велят помалкивать. Паек на Залетного с Мирным будет итти и записываться куда следует в расход... Только и всего!

Дружно двинулись и покатились тележки, гулко стуча по плотной, укатанной дороге. Двое натянут на лямку впереди, двое подталкивают сзади, налегая изо всех сил при под'емах.

Зато при спусках с горы задние стараются удержать рвущуюся вперед тележку, натягивая свои лямки, прикрепленные к оси между колесами.

Тут надо глядеть в оба и во-время отскакивать в сторону, чтобы накатившееся сзади бревно не переломало ноги или спину. Далеко не всегда можно было удержать с горы тридцатипудовую тяжесть на одних задних лямках. Как живая, рвалась вперед тележка, волоча за собою людей. Тогда передняя упряжка разбегалась в стороны и, натягивая лямки наоборот, все они уже вчетвером кое-как сдерживали и направляли бешеный бег тяжелой махины.

Жалея пожилого Тиманова, Сосновский шел всю дорогу впереди. Ничего, кроме удовлетворения, это ему не доставляло.

Грудь дышала легко и свободно. Крепкие молодые мускулы сами просили работы, а напряженная беготня и прыжки живительной волной гнали по жилам кровь, застоявшуюся от долгого тюремного сиденья.

Чувство некоторой опасности на спусках с крутыми поворотами еще больше обостряло азартные ощущения этой трудной работы.

Так потянулись дни. Из желания измерить, сколько возможно, тяготу арестантских работ, Сосновский перепробовал почти все виды каторжного труда летом.

Вначале рудник заинтересовал его своей мрачной, зловещей обстановкой.

Длинный, темный коридор в угольной породе.

По стенам и на своде — крепи, плотно пригнанные друг к другу бревна. Точно деревянный колодезь, положенный на бок. Сквозь них местами просачивается вода; на земле лужи.

Тусклый свет дэвисовых лампочек с сеткой отражается в их спокойной, черной поверхности.

Фонарики по стенам мелькают всюду, как светляки в темную ночь.

Туннель опускается книзу, поднимается кверху, смотря, как идет пласт; разветвляется на косые переходы—штреки, соединяющие его с другими коридорами.

Целый подземный лабиринт.

В конце галлереи—забой, обнаженный пласт угля. Здесь идет главная работа.

Взмахивает тяжелая, острая кайла, с характерным хрустом впиваясь в дробящийся уголь.

Кусок за куском, глыба за глыбой.

В красноватом ореоле фонарика неровная поверхность их сверкает жирным, чешуйчатым блеском в тысячах граней.

Жарко и душно в забое.

По пояс обнаженные тела в полумраке изгибаются во все стороны гибким змеиным движением, нанося удары невидимому врагу.

Одни сражаются стоя, другие на коленях. Некоторые, лежа на боку; короткими взмахами кайлы вгрызаются в подножие пласта. Галлерея растет, уходит в недра земли.

За передовыми бойцами ставят крепи.

Каждый шаг здесь взят с боя, полит трудовым потом.

Широкими лопатами подхватывают груды угля и грузят его на низкие вагонетки с бортами.

Большие глыбы вдвоем, втроем укладывают руками.

С грохотом летит облепленная людьми вагонетка по узким рельсам галлереи к выходу.

Все стадии шахтера прошел Сосновский, начиная с откатчика вплоть до забойщика.

Всевыносящая молодость и крепкий, нетронутый организм давали ему в этом отношении преимущества перед самыми сильными из каторжан, которых в полном смысле слова износила и издергала каторга.

Единственно, что было непереносимо, это дикие и грубые до последней степени поступки его невольных товарищей в отношении друг друга, всеневозможнейшая площадная, ничем не вызванная ругань и часто самая очевидная тупость «кобылки».

Пользуясь общей передышкой, развалились они однажды с Тимановым, как на мягком диване, на груде приготовленного к нагрузке угля.

Табак и спички отбирались вместе с одеждой при входе в рудник, и они просто мирно беседовали, глядя, как светлыми искорками толпится угольная пыль в ореоле дэвисовой лампочки.

— А ведь племянник-то мой все выпытал у Орлова-писаря; помните, насчет заковки-то вашей?— вполголоса проговорил Тиманов.—Как думал я, так оно и есть. Полицеймейстер Ипатов врезался, значит, в вашу невесту, и вы ему теперь поперек горла стоите. Вот с Володькой Губановым—а тот первеющий друг ему— и порешили эту мину под вас подвести. Понадеялись на молодость, значит, да на неопытность вашу. Настрочили Орлова, а тот и подвел мину, да сорвалось.

Ошалев от неожиданности, Сосновский слушал с напряженным вниманием.

— А надели бы те кандалы—и непременно бы засыпались... Тогда бы обнаружился наш тюремный секрет,—спасибо вам теперь должна сказать вся тюрьма. Да и самим-то вам не избыть бы плетей, Борис Иваныч, если-б засыпались.

Сердце Сосновского сжалось.

— Так вот оно что! Вот удар откуда направлен... Теперь ясно вызывающее поведение Ипатова в карантине при медицинском осмотре...

Но что же это? Не только мне... И Оле моей не дают покоя! И я бессилен что-либо сделать, оградить ее как-нибудь от наглости этих гадов...

Ну, мы это еще посмотрим...

Он встал и выпрямился, чувствуя, как от кипящего негодования напрягается в нем каждый мускул.

С грохотом и криками — берегись! берегись! — промчалась мимо него одна вагонетка, за нею другая, третья...

Как бы отгоняя докучные мысли, Сосновский провел рукою по лбу и хотел уже повернуть к своему месту в забое, но остановился, пережидая четвертую вагонетку. С громом и лязганьем летела она к нему из глубины коридора.

Вдруг кто-то вынырнул из мрака и стремительным прыжком проскочил между стеной и стоявшим у самого края рельсов Сосновским.

Сильный толчок в спину; напряженные мышцы каким-то звериным чутьем сами собою спружинились, и крупным броском с места Сосновский вскочил на пробегавший вагон.

Не удержавшись на конической груде угля, он сорвался под ноги откатчиков. В удушливой тьме повисла непечатная ругань, кто-то, споткнувшись, упал, кто-то наступил ему на грудь, но вагонетка умчалась.

— Ох, смотрите, Борис Иванович, не спроста это! — говорил после работ Тиманов: — всякие люди тут есть... Тут Сакàлин!

— Да бросьте вы, Степан Никанорович! Ведь этим до мании преследованья можно дойти, — смеялся Сосновский. — Просто какой-то идиот хотел на-бегу вскочить в вагонетку, чтобы не

бежать рядом до самого выхода. Ну, наткнулся на меня по дороге. Никакого нет тут покушения.

Тем не менее, рудник, так очаровавший его вначале своей феерической мрачностью, сильно стал ему неприятен.

Зато проведение дорожных канав, заготовка щебня и рытье запасных могил на кладбище не понравились ему с первого раза, и он старательно избегал их, когда только было возможно.

Сахалинская почва отличается необыкновенной гигроскопичностью. Точно губка, распластанная на утесах, впитывает в себя воду и круглый год держит ее толстый слой торфа.

При обилии выпадающих осадков немудрено, что даже на вершине самых высоких хребтов можно найти в изобилии воду; стоит только прокопать почву на каких-нибудь пол-аршина.

Извольте рыть канаву, стоя по-пояс в холодной коричневой жижице.

Чтобы выворотить со дна ее большой камень или мешающий корень, нужно окунуться туда с головою.

Общий смех шпанки приветствует всегда такие приключения.

— Не ныряй с размаху! Тут мелко! Лови момент! Не каждому такое счастье! — иронизируют соседи, когда «счастливец», пуская ртом пузыри и ругаясь во столько этажей, сколько до самого неба хватит, высовывает из канавы свою облепленную илом и грязью бритую голову.

На кладбище та же история.

Могилы изготовляются летом на весь год.

Невысокий кряж крутым обрывом спускается к морю.

Со стороны поста скат его довольно пологий.

Почти весь он зарос приземистым кедровым «стланцем» и выглядит какой-то длинной, вз'ерошенной щеткой.

Один конец этой щетки уходит вдаль и сливается там с синеющим лесом, другой примыкает к устью реки Малой Александровки.

Этот конец, голый саженей на двести, и отведен под кладбище.

Уныло торчат покосившиеся кресты. На некоторых надписи. Есть и комические, например:—«Прах миру твоему от незабвенной супруги».

Ни кустика, ни деревца нет над ними...—Именно, прах миру твоему!—думает, глядя на них, Сосновский.

Только в летний зной, не скупясь, посылает им жаворонок свои серебряные трели, да зимою воют и стонут снежные бураны.

Но снег до самой земли сдувается ветром с этой обнаженной гряды. Не менее как на два аршина промерзает здесь почва, обращаясь в сплошную глыбу льда, твердого, как цемент.

И только с помощью тяжелого, острого лома было бы можно зимою рыть здесь могилы.

И вот их заготовляют летом, штук сорок, пятьдесят.

Печальная предусмотрительность.

Самые похороны упрощены до крайности.

Задыхаясь от усталости и обливаясь потом, вывозят в гору два парашника двухколесную тележку с некрашенным гробом. На крышке мелом написана фамилия.

Нелегко втащить по откосу эту тяжесть, и потому они не скупятся на «сахалинские молитвы».

Кладбищенский сторож указывает могилу.

Тележка подкатывает к зияющему провалу, и парашники разом поднимают оглобли.

Гроб торчмя летит в яму и нередко, перевернувшись, падает на крышку. Покойник вываливается и тонет в воде; гроб плавает сверху...—все равно! Одна всем дорога, заваливай, пока поп не пришел!

Опоздавший священник наскоро отхватывает заупокойные молитвы.

— Идеже несть печали, ни воздыхания, но жизнь бесконе-чна-я!

— Ладно!—ворчат парашники, свертывая цыгарки.—Хуже не будет, чем здесь!—и погребальный обряд кончен.

— Здесь Рачково! Не Киевская лавра тебе! Живет и так!—философствует кобылка, копающая могилы поблизости.

— Кто такой Рачков?

— А первый кладбищенский сторож при самом основании здесь каторги. С него и пошло! Рачково да Рачково!

То философствует, то смеется кобылка, но в глубине души у каждого копошится острое, щемящее чувство.

— Придет черед,—и меня закопают, как падаль какую... вот этак же:—бух, торчмя головой... вались, такой-сякой! только руки все оттянул!

Но самой нелюбимой работой Сосновского была заготовка щебня.

В промежутках между грудами наваленного по краю дороги булыжника сидят люди.

Ступнями скорченных ног каждый обхватил крупный булыжник, и молоток, фунтов в десять весом, колет его на щебень.

Ни подстилок под себя, ни обмоток для ног не полагается. Каменные брызги больно секут лицо и руки, забиваются в просторные коты. Спину ломит от непривычного положения мышц.

Через 2—3 часа в висках начинает стучать, во рту пересыхает, и неверной рукой направляемый молот все чаще и чаще ушибает скорченные ступни.

А в солнечный день работа превращается в пытку для непривычного к ней человека.

Слабые с виду камнедробильщики-специалисты, знай-себе, помахивают молотом и в такт покачивают туловищем; да еще песню мурлыкают под нос.

Видно, что не руки одни, а весь корпус ведет работу в дружном содействии каждого мускула.

Сосновский и люди много сильнее его выдыхались через какие-нибудь 2 часа, а к концу дня, шатаясь, как пьяные, с налитыми кровью глазами и болью во всем теле, едва могли дотащиться до своего места на нарах.

Наступил июль месяц.

Ночные заморозки кончились. Исчезли с гор последние пятна белевшего снега.

Солнце нещадно палило, и, точно спеша использовать короткое лето, буйно росли всевозможные злаки из влажной, нагретой почвы.

Впрочем, ее верхние слои быстро высохли, и начались лесные пожары.

Не преминули сгореть заодно и многие тысячи бревен, сложенных в штабели на лесных полянах.

Злые языки утверждали, что на бумаге, по книгам, сгорело в двадцать раз больше, чем на самом деле.

Но ведь злых языков так много на свете, а...—«Тут Сакàлин»!—кратко поясняли Сосновскому опытные люди при всех его расспросах о причине пожаров.

Десятого июля день был воскресный, и дальних работ не производилось.

Только одна небольшая партия отправилась в Малую Александровку за дровами для кандальной бани.

Там, по краю обширного кочкарника, вдоль дороги сложены были огромные костры обгорелых, черных, кривых стволов, привезенных с лесного пожарища.

Попал в эту партию и Сосновский.

— Полоротый велел вас назначить; по приказу помощника; ничего не поделаешь... Идите уж!—извиняющимся тоном пояснял Ферапонтыч.

Подивился Сосновский такому вниманию к себе со стороны начальства.

— Завтра свидание с Олей, сообразил он, если заупрямлюсь, не дадут свидания. Надо быть на-чеку... Э, да что там,—работой меня не запугаешь.

К 12 часам дня урок был закончен.

Принесли обед. Тиманов пошел за баландой, а Сосновский только-что собрался помыться, как в камеру вбежал надзиратель.

— Скорее!.. В канцелярию губернатора требуют... Конвой пришел... Приказано, чтобы сию минуту... не одеваться чтобы, ни что... Как есть, значит...

— Что такое? Что случилось?

Сосновский наскоро вытер мокрым полотенцем лицо и руки, вымазанные сажей, и выскочил на двор. Там уже стояли двое конвойных солдат с винтовками.

— Живо! Марш! — и все они быстрым шагом вышли за ворота.

Вот и канцелярия губернатора. Сосновского вводят в пустую комнату и запирают на ключ.

— Да что такое случилось?—с тоской думает он.

Никто ничего не говорит.

И чему так странно улыбались писаря, глядя, как он проходил через канцелярию? Тому, что весь бушлат у него вымазан в угле? Так ведь это же глупо. Ведь знают, идиоты, что не чиновник, а простой арестант. Чему ж тут смеяться?..

— А вдруг—что-нибудь с Олей?!..

Он вспыхнул и бросился к двери, но она открылась, и вошел начальник округа Турский, за ним помощник его Янцевич и начальник тюрьмы Серебрянский.

За спинами их виднелись улыбающиеся физиономии Володи Губанова и полицеймейстера.

— Будьте добры, об'ясните мне...—встревоженно начал Сосновский, обращаясь к вошедшим.

— Вы готовы?—прервал его начальник тюрьмы.—Боже мой, что у вас за вид!? Сейчас—в церковь... Невеста идет, и батюшка давно там, а вы...

Губанов с Ипатовым прыснули за дверью и скрылись, а сконфуженный Сосновский принялся об'яснять, в чем дело.

Обедня только что кончилась, и церковь опустела.

Певчие нетерпеливо покашливали на клиросе, и гулко раздавались шаги сторожа, принесшего аналой на середину церкви.

У свечного ящика записывались свидетели, и стояла Ершова в простом черном платье.

Радостно вспыхнули ее глаза при виде Сосновского. И так же ответно вспыхнули глаза ее жениха.

Началась традиционная «служба». Священник читал какие-то псалмы, размахивал какой-то лампадой — они ничего не видели и не слышали, кроме друг друга.

Что у них впереди? 20 лет бесправия и плена у развратных тюремщиков и пьяниц?..

Они сейчас не думали об этом. Они думали только: он — о ней, а она — о нем.

Марья Степановна Ларова и «сибирская роза» попеременно держали венец над головою Ершовой.

У Сосновского не было шаферов, и он высоко поднимал голову, выпрямив стан, чтобы не уронить своего венца.

Тюремный бушлат с тузом на спине и грубые коты на ногах странно резали глаз при этой осанке.

— Совсем как есть — дети! — думал, глядя на них, отец Александр. — И за что только этаких сюда посылают?

Поздравив молодых, Ларовы увели их к себе.

Ферапонтыч, бывший свидетелем со стороны жениха, помялся, помялся, но махнул рукою и, взяв с Сосновского обещание притти через час в канцелярию, ушел по своим делам.

Со странным чувством, впервые за два года, смотрел Сосновский на тщательно сервированный стол, как на что-то давно знакомое, но необычное. Звуки рояля казались идущими издалека-издалека, и у него чуть-чуть кружилась голова.

Веселые детишки в опрятной одежде представляли такой контраст с его арестантской одеждой, что он разом вспомнил о тюрьме. Потом посмотрел на жену, — и опять все понеслось со своих мест, нарушились перспективы и сместились планы.

Идя с женою в тюремную канцелярию, он сказал:

— Это хорошо, что ты у них занимаешься с детьми. Они здесь считаются самыми порядочными людьми. Пока ты у них, я спокоен за тебя.

— Ну, ты мог бы и не беспокоиться! — со смехом возражала она. — Я привыкла сама отвечать за себя... Любовью и лаской я дорожу, а защита... — она пренебрежительно махнула рукой.

— Вот тебе и раз! А я-то? — с комическим ужасом остановился Сосновский.

— Иди, иди! Не воображай, что жена боится своего мужа! А как тебе понравилась моя Стана? Правда, удивительное лицо? Одни брови чего стоят! И лоб точно фарфоровый... а глазато! Задумчивые, серые... Я зову ее — «Стана», вместо «Саша». Это больше к типу подходит... Чем-то черногорским звучит. Правда?

— Правда, правда...— рассеянно отвечал Сосновский, к чему-то прислушиваясь.

Он сидел на продавленном стуле в тюремной канцелярии. На колени к нему взобралась молодая жена и, ласково обхватив его шею руками, весело рассказывала о своих знакомствах и впечатлениях.

— Теперь я имею право так сидеть! — шутила она, похлопывая его по бритой голове и прижимаясь к ней своей бархатистой щекой.

— О, да! Теперь у нас с тобою целая куча новых прав и преимуществ, только... только... постой-ка! — Он встал и быстро подошел к закрытой в соседнюю комнату двери.

— Так и есть! Вот гады!

В двери на высоте роста провернута дырка; только-что скрылся чей-то глаз; слышится сдавленное хихиканье и шорох убегающих на цыпочках людей.

— Приказано кончить свидание. Пожалуйте по домам! — шутливо произнес Ферапонтыч, заглядывая к ним в окно с улицы.— Не серчайте уж на меня! Должность такая, собачья. Прикажут тебе: — гавкай! и гавкаешь.

Полный самых разноречивых впечатлений вернулся Сосновский в свою камеру.

Наскоро удовлетворив любопытство Тиманова, он поужинал холодной баландой, заботливо ему оставленной от обеда, и, отказавшись от чая, завалился спать, сразу же после поверки.

Ему хотелось остаться наедине со своими думами, разобраться и в самом себе и в своих впечатлениях.

Сердце сжималось от боли за равнодушие, холодное надругательство над молодым чувством.

Нарочно послали на грязную работу в такой день; нарочно грязного, неумытого привели в церковь на общее посмеяние, а теперь, после венца, заперли в пустой канцелярии и в дверях провертели дырку... Подсмотреть хотели, и грязное любопытство... За кого же они их-то считают? Его и его чистую светлую Олю!

Кто-то огромный и пошлый, с грубым казенным лицом пришел и плюнул на порог их новой жизни.

Кто?

Предписание Муравьева, ссора губернатора с Турским, власть пронырливой, полуграмотной бабы над губернатором, распутная похоть полицеймейстера, хулиганство Губанова и общее взяточничество — моментально встали перед ним, как звенья той же цепи.

Вот тот огромный и пошлый, с казенным лицом, кто расселся по городам и весям полуголодной, запуганной России и равнодушно жует бумажную жвачку входящих, исходящих, циркуляров и предписаний. Жует и плюется направо и налево; и куда попадает — ему все равно.

Плюет в ясные глаза девушки, несущей ему свою посильную работу, и в горячее сердце юноши, жаждущего кровью своею омыть веками налипшую грязь с его подножия. Плюет в облитое потом лицо крестьянина и рабочего, в седую бороду инвалида труда и даже в лица тех слепых, доверчивых тружеников, которые плечами своими подпирают его же гнилые устои.

Кругом Сосновского понемногу затихала обычная жизнь тюремной шпанки.

Зашивали оборванные бушлаты, развешивали мокрые портянки, ссорились и ругались, пили чай и втихомолку щелкали картами.

После генерального боя на зеленом поле, Сашка Шаров со своими головорезами, обыгравши всю камеру, перевелись в другой номер. Туда же ушли и Черный с Мухой.

Стало относительно спокойно — мутить камеру было некому, и все же не мог он без чувства какой-то брезгливости подумать, что ему придется еще долго жить в этой грязной и вшивой обстановке.

И стыдно было своей мысли и прогнать он ее не мог.

— Что за гнусность! — выругался он. — Ведь все равно ни о чем же из совершившегося там в России я не жалею. Нет!.. Ну, значит, и баста!

И лег спать.

Угомонившаяся кобылка давно храпела кругом его на разные лады.

Аджали, сосчитав втихомолку дневную выручку, задвинул свой магазин в изголовье и, подложив под себя маленький коврик, молился теперь своему Аллаху.

Накрытая тюбетейкой голова не смешила больше своими проплешинами.

Полная луна освещала поднятые кверху руки и замершее в экстазе бледное лицо татарина.

За окном, не смолкая, вели свой концерт лягушки, и вдали глухо гудело море.

Продолжение этого романа смотри
Б. ЕЛЛИНСКИЙ
ПОД ЗВОН ЦЕПЕЙ.
Часть II.
КАТОРЖНАЯ КУЗНИЦА.
ИЗД. ПОЛИТИЧ. КАТОРЖАН.
Москва. 1927 г. Ц. 1 р. 50 к.

Цена 1 р. 50 к. 17959 Кн. XXVI

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

Москва-34, Лопухинский пер., 5. Тел. 3-64-73. Правление и Контора Издательства Всесоюзного Общества Политкаторжан.

СКЛАД ИЗДАНИЙ:

Москва-Центр, Петровка, 7. Книжный склад „Маяк" Издательства Всесоюзного Общества Политкаторжан. Телеф.: 4-18-12 и 3-63-20.